

Артур Аршакуни



ПАМЯТЬ ВОДЫ

Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая

Артур Аршакуни

**Память воды. Апокриф
гибридной эпохи. Книга вторая**

«Издательские решения»

Аршакуни А.

Память воды. Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая /
А. Аршакуни — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-966221-7

Судьба разделяет близнецов, родившихся в Иудее, и подвергает их невероятным испытаниям, чтобы в конце концов снова свести их вместе — лицом к лицу.

ISBN 978-5-44-966221-7

© Аршакуни А.
© Издательские решения

Содержание

Часть вторая	6
Глава первая Salve1!	6
Глава вторая Мирра	20
Глава третья Дерево	31
Глава четвертая Старая колыбель	53
Глава пятая Землетрясение	67
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Память воды

Апокриф гибридной эпохи. Книга вторая

Артур Аршакуни

© Артур Аршакуни, 2019

ISBN 978-5-4496-6221-7 (т. 2)

ISBN 978-5-4496-6222-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть вторая

*Я воззвал орла от востока,
из дальней страны исполнителя определения Моего.
Я сказал, и приведу это в исполнение;
предначертал, и сделаю.
И с а и я, 46, 11.*

Глава первая **Salve!**

– Йо-хо-хо! – цепляясь мечом за ломкие ветви бальзамового кустарника, долговязая фигура в короткой солдатской тунике со щитом на спине и шлемом подмышкой с треском и грохотом вырвалась из зарослей по крутому склону на обломок скалы, подступающий к лесу, сделала по инерции несколько шагов и по-кошачьи мягко спрыгнула на прибрежный песок.

– Пантера, где ты там? Эй! – послышались крики из кустарника над его головой.

– Йо-хо-хо! Бибул, Тит! Сюда! – Пантера сел спиной к скале и удовлетворенно огляделся. *Славное местечко! Почти как родная Кампанья.*

Над его головой с таким же шумом и треском вырвались из кустарника двое его друзей и спрыгнули с уступа скалы на каменистую землю рядом с Пантерой.

– Ну и местечко ты нашел, Пантера, – сказал, вернее, медленно пророкотал низким, внушающим невольное уважение басом, оглянувшись, Тит, рослый солдат могучего телосложения, с массивной, поросшей жестким коротким курчавым волосом, головой, насаженной, словно без шеи, на мощные плечи бывшего гладиатора.

– Нравится? – спросил Пантера. – Я нашел его давно, с первых же дней нашего прихода сюда... Бибул! Проверь, мой юный друг, кувшин цел?

Бибул, полный юноша с округлым прыщеватым лицом и капризно оттопыренной нижней губой, поставил в тень скалы плетеную корзину, которую он принес собой, и заглянул в нее.

– Все цело.

– Вот и славно, – Пантера потянулся, – тогда давайте сразу же и приступим.

Бибул, с готовностью усевшись, расстелил на песке кусок полотна и начал выкладывать на него из корзины кувшин, чаши, сыр, хлеб, куски прожаренного мяса. Тит, поколебавшись и еще раз оглядев окрестности, сел рядом с приятелями.

– Да, мой верный Титус, – продолжал тем временем Пантера, – и тогда я сразу решил: служба – это хорошо. Служба есть служба, пусть я и контубернал. Но торчать в карауле и сбивать себе ноги об эти камни в обходах территории – занятие не для бедного, несчастного и потрепанного жизнью ветерана Пантеры, а для юных и полных сил сосунков вроде Бибула, не будь я... Гм, да. Верно, Бибул?

– Но ты все-таки идешь в охрану, – пробасил Тит, не дожидаясь ответа Бибула. – Хоть и контубернал.

– А что мне остается делать, Титус? Вот, послушай меня и рассуди сам – только по справедливости, ты слышишь? Итак, возьмем твое жалованье... Погоди, погоди, я же условно сказал! Вот, есть ты, римский солдат, и у тебя есть жалованье. Так? Замечательно. Итак, твое жалование – целых десять ассов². Какое мое, ты, конечно, знаешь. Жалкие пятнадцать! Что делать

¹ Salve (лат.) – здесь: «будь здоров», «твое здоровье».

² Жалование солдата римской регулярной армии составляло 10 ассариев в день; на них же ему приходилось покупать одежду, оружие и пр. Кроме того, практиковался обычай платы непосредственным командирам (взятки) за освобождение от рутинных повседневных работ при несении гарнизонной службы, так что ими занимались в основном наименее обеспе-

бедному Пантере, на несчастные пятнадцать ассов, из которых две трети занимают поборы? – воскликнул Пантера. – Я и так должен нашему несравненному Луцию Нигру восемьдесят! Старый пройдоха слишком любит игру в кости, так что я их еще отыграю, не будь я... да! Слово Гая! Славно сказано, а?

– Славно-то славно, но эта корзина обошлась тебе дороже жалованья, – смех Тита очень был похож на звук катящейся с горы бочки.

– Не мне, а Бибулу! – засмеялся в ответ Пантера. – Солдатский обычай свят: умри, но исполни. Верно, Бибул?

– Все готово, – сказал Бибул, показывая на угощение.

– Ну, что ж, – Пантера взял свою наполненную чашу и подождал, пока приятели не последовали его примеру. – Давай, друг мой Титус, поднимем эти чаши за Бибула, который... Ладно, неважно. Прошное забыто. *Salve, Bibulus gastatus*³!

– *Salve*, – эхом откликнулись оба его приятеля.

Три солдатские головы запрокинулись, принимая в луженые солдатские глотки содержимое чаш.

– Доброе вино, – удовлетворенно крикнул Тит.

И прикусил язык.

– Что? – Пантера даже приподнялся на месте. – Эта кислятина? У этих иудейских пройдох не может быть хорошего вина.

– Но вино-то в самом деле неплохое, Пантера! – гигант Тит так простодушно посмотрел на Пантеру, что сразу стал похож на большого ребенка, готового обидеться.

– Если вино хорошее и не италийское, чего просто не бывает, тогда оно – сирийское! – удовлетворенный Пантера снова сел на свое место.

– Все равно лучше нашего вина нет, – вздохнул Тит.

Пантера снова не утерпел.

– Где это у вас – в вашей занюханной Фракии? Не смей меня, Титус. Ты хоть знаешь, что такое фалерн⁴? Если ты хочешь узнать, что такое настоящее вино, приезжай к нам в Кампанию. А еще лучше подожди, когда я выйду в отставку, и Божественный по примеру своего великого предка наградит меня земельным наделом с виноградником на родине⁵. Вот тогда приезжай на пробу славного вина!

– Долго же тебе придется ждать! – рассмеялся Тит.

– Долго придется ждать тебе, – жестко сказал Пантера, и желтые глаза его по-рысьи сузились, – потому что пока я в отставку не собираюсь. Пересчитывать овец и щупать рабынь – разве это жизнь? Нет, гладий в руке и плечо идущего рядом в атаку – вот это по мне! А если еще за это мне причитается моя доля⁶... – Пантера хмыкнул. – А она потихоньку растет, мой Титус! Растет, как весенняя лоза!

– Я проиграл своих три доли Луцию Нигру в кости, – понурился Тит.

– Ну и хитрец наш опцион! – захохотал Пантера. – Подозреваю, что он, уйдя в отставку, отправится в свой Брундизий с тремя ослами в поводу, навьюченными добром, выигранным... у таких ослов, как мы. Сколько раз давал себе клятву не садиться с ним играть! Мошенник!

– Ему Меркурий на ухо шепчет, – сказал Бибул.

ченные из солдат.

³ *Salve, Bibulus gastatus* (лат.) – здесь: будь здоров, гастат Бибул.

⁴ Фалерн, – вино из лучших сортов винограда, произрастающего в основном в Кампанию.

⁵ Пантера имеет в виду Цезаря, который наделил земельными участками всех ветеранов галльских походов, пожелавших выйти в отставку.

⁶ Каждый солдат, участвующий в бою, имел свою долю от богатств, захваченных у неприятеля, которую мог обменять на другую, продать за деньги и пр. Практиковалась также продажа своей доли в предстоящих боях.

– А что тебе шепчет на ухо Бахус, мой свежевывулупленный легионер? – грозно, выработанным командирским голосом спросил Пантера.

Тит рассмеялся. Бибул наполнил чаши.

– Люблю, когда команды выполняются точно и в срок, – усмехнулся Пантера, протягивая руку за чашей.

– Имей в виду, Бибул, – сказал Тит, не глядя на того и подмигивая Пантере, – Пантера любит исполнительных. Прямо центурион. Вот раз в Германии...

– Пантера любит еще и держащих язык за зубами, – процедил Пантера.

– Расскажи, Пантера, – сказал Бибул.

– Нечего, – буркнул Пантера, взвешивая чашу в руке. – Были там... Ну... Победили и победили.

– Цезарь! – зацокал языком Тит. – Похож, похож. Где твой лавровый венок, Цезарь?

Пантера засопел.

– Ладно, ладно, – сказал Тит миролюбиво. – Давай просто выпьем за победу. И за возвращение.

Пантера рассмеялся.

– О боги! Сидеть на песке в Иудее и пить с упрямым фракийцем дрянь, выдаваемую за сирийское вино, за победу в Германии! И за возвращение, Тит? Сюда?

Приятели выпили.

– И все-таки, – не выдержал Бибул, упорно глядя мимо Пантеры, в сторону. – Все-таки интересно ведь, как там все было в Германии... Говорят...

– И что говорят? – Пантера аккуратно пристроил чашу рядом с кувшином и уставился желтыми рысьими глазами на Бибула.

– И как легион расформировали, и как децимацию устроили...

– А вот если ты не закроешь свою пасть, – ласково сказал Пантера, – то сейчас будет устроена показательная бибуломация...

– Ладно вам обоим, – прогудел Тит и добавил, обращаясь к Бибулу: – Поверь, ничего интересного. Месяц на ячмене⁷ – это хуже...

– ... А следом – титомация! – свирепо добавил Пантера, глядя исподлобья на Тита.

Тит вздохнул. Пантера помолчал какое-то время, сопя и раздувая ноздри.

– Прошлое – пыль под ногами, – наконец сказал он. – Есть сегодняшний день. Есть ты и есть твой добрый гладий. Остальное – причитания старух.

Он оглядел товарищей и с металлом в голосе добавил:

– Бибул!

Бибул торопливо разлил вино по чашам.

– Salve, – сказал Пантера.

– Salve.

Выпили еще раз.

– Видел? – не удержался Тит, подмигивая на сей раз Бибулу. – Отец-командир... Почти как у нас, в школе гладиаторов. Там порядки были – только держись.

– Расскажи, Тит, – попросил Бибул. – Это-то можно рассказать...

– Расскажи, расскажи ему, – сказал Пантера.

Мне самому интересно.

– Да ладно, что там рассказывать, – протянул Тит, довольный, однако, вниманием к себе.

– Сколько ты пробыл на арене? – спросил Пантера.

⁷ Легион, подвергшийся децимации, переводился на время в палатки за пределы лагеря и на пищу рабов, в частности, – ячмень вместо пшена.

– Семь лет, три месяца и восемь дней, – сказал Тит, – и каждый день, прожитый на арене, стоит перед глазами.

– Страшно было? – Бибул подвинулся ближе.

– Страшно? Нет, чего мне бояться? – Тит поднял руки и повертел кулаками, похожими на два обломка скалы.

– Там – смерть, и здесь – смерть, – сказал Пантера.

– Нет, Пантера, – Тит покачал крупной шишковатой головой. – Это разные смерти... Вот вам бывает страшно в бою?

Бибул пожал плечами, смущенно засмеявшись, и начал наполнять чаши снова.

– Не знаю, – Пантера прищурился и сплюнул. – Просто я в бою ненавижу того, кто стоит передо мной и хочу его уничтожить. Вот так. Враг есть враг. Он – тебя, или ты – его. По-моему, справедливо. А что, у вас разве не так?

– А на арене перед тобой – твой друг, – сказал, качая шишковатой головой, Тит, – друг, с которым ты спишь в одной казарме, ешь в одной столовой и делишь один кувшин вина на двоих. Он не лучше и не хуже тебя, он просто твой друг, но ему не повезло, и он лежит на арене и смотрит на тебя, а ты смотришь на ложу, где сидит распорядитель боя... Ты даже не видишь его руки, но по реву толпы все понимаешь и поворачиваешься к своему другу. Он тоже все понимает и больше не смотрит на тебя. Просто сегодня – его черед. А твой черед, может быть, настанет завтра.

Тит помолчал немного, потом глухо сказал «Salve» и выпил. За ним молча выпили остальные.

– А я... – волнуясь, начал Бибул. – Я смог бы стать гладиатором? Заниматься, чтобы стать сильным?

– Не знаю, сынок, насчет занятий, – сказал Тит. – Сильным? Важно ведь не что у тебя снаружи, а что внутри. А вот Пантера смог бы. Идеальный гладиатор!

– Он же... Он же слабее тебя, Тит, – удивился Бибул.

Выпитое вино лишило его привычной сдержанности.

– Нет, – медленно протянул Тит, качая головой, – сила не главное. У Пантеры внутри вместо души – тяжелый римский меч. И я бы очень не хотел сойтись с ним на арене цирка.

– Ладно, Титус, заканчивай, – сказал Пантера, – а то у меня закружится голова и я все-таки затребую себе лавровый венок! – он щелкнул пальцами. – Бибул!

Бибул, не дожидаясь продолжения, снова наполнил чаши.

– Скажи, Тит, – снова спросил он, – а ты не хотел бы вернуться на арену? Ведь здесь, в Страбонисе, тоже есть цирк⁸, и ты там никого не знаешь...

– Я знаю себя, Бибул, – просто сказал Тит и покачал головой.

– Тит, – хитро сощурившись, начал Пантера, – тебе не кажется, что наш ребенок, едва научившись ходить, хочет попасть в гладиаторы?

– Я не ребенок! – крикнул Бибул обиженно.

– Согласен, ты не ребенок, – сказал Пантера, – ты еще просто молокосос. Жалко, что мы не захватили с собой молока для тебя, – Пантера откровенно развлекался, – к сожалению, так и быть, придется тебе налить вина в свою чашу, как и всем.

Послышалось только шумное дыхание Бибула.

– Ты не понял? – удивился Пантера. – Я сказал налить вина, а повторять дважды я очень не люблю.

Бибул наклонил кувшин дрожащей рукой, проливая вино мимо чаш.

⁸ В подражание Августу Иродом Великим были построены в Страбонисе статуи Юноны, самого Августа, ипподром и цирк для гладиаторских боев.

– Э! – сказал досадливо Пантера, перехватывая кувшин. – Наш мальчик, кажется, уже пьян, хоть он и Бибул⁹.

– Я не пьян, – возразил Бибул.

Нижняя губа его еще больше вздулась.

– Вот так, Титус, – вздохнул Пантера, подмигивая Титу, – ну и пополнение мы получили! Нынешняя молодежь, оказывается, вовсе не умеет пить, а мечтает о гладиаторских боях.

– Надо сначала стать мужчиной, – согласился Тит.

– Ну, об этом мы вообще промолчим! – Пантера снова подмигнул Титу. – Знаешь ли ты, друг мой Титус, что свежеиспеченный новобранец нашего прославленного... гм, Второго легиона мечтает об арене цирка, притом до колик боясь женской юбки!

– Я не боюсь юбки! – крикнул Бибул, покраснев. – Ни юбки, ни рубахи.

– Откуда ты знаешь, Пантера? – удивился Тит.

– Ну, конечно, – Пантера наслаждался замешательством Бибула. – Юбки ты не боишься... Ты боишься той, на ком эта юбка.

– Никого я не боюсь! – снова крикнул Бибул. – Ни светловолосых, ни темноволосых, ни рыжих! – он посмотрел на ласково кивающего ему Пантеру и добавил: – Ни белокожих римлянок, ни загорелых иудеянок, ни смуглых савеянок.

– Запомни, Титус, – Пантера, казалось, не слышал, что сказал Тит, – запомни и расскажи своим внукам, что ты видел единственного девственника во всей славной римской армии, и где? Где, я спрашиваю тебя? В славном... гм, Втором легионе! Среди Пчелок¹⁰, представляешь? Жу-жу-жу!

Он замахал руками, изображая пчелу, и рассмеялся.

– Значит, ему предстоит научиться не только пить вино, но и скакать верхом в постели, – сказал Тит.

– А не сводить ли нам нашего невинного барашка в Медждель? – оживился Пантера. – А что? Отличная мысль! Там, по рассказам, живет одна очень горячая лошадка по имени Лия, которая не видит разницы между обрезанными рыбаками и необрезанными солдатами, потому что ассарии и у тех, и у других одинаковые. Она мигом обучит его верховой езде! А еще, говорят, дочка у нее – красавица! Имя, правда, забыл...

– Нет! – крикнул Бибул, отворачиваясь. – Отстаньте от меня. Жеребцы!

– погоди, погоди, – сказал Пантера, и желтые его глаза сузились.

Что-то у него бегают глаза.

– Наверное, мне послышалось, – продолжал Пантера. – А ну-ка посмотри на меня! Я сказал: смотреть на меня! – у Пантеры зазвучали металлические командирские нотки в голосе, так что Бибул испуганно стал подниматься с камня, на котором сидел. – Не отворачиваться! А теперь быстро, Бибул, и главное, откровенно. Кто тебе сказал про смуглую савеянку?

Что со мной?

Ничего. Я стал другой после Германии. После Эврисака.

Молчание плодит Эврисаков. Довольно. Я больше не буду молчать.

– Опять ты за свое, Пантера? – сказал Бибул. – Сколько можно? Провались ты со своей савеянкой! О ней все Пчелки знают!

– Я тебя давно предупреждал, сынок, – сказал Пантера, улыбаясь, – согласен, ведь предупреждал?

Бибул поднялся и нетвердой походкой пошел за скалу. Его вырвало.

– Савеянка? – удивился Тит. – Откуда?

⁹ Бибул (лат.) – пьяница, от «bibo» – «пить», «выпивать».

¹⁰ Пчела – эмблема Второго легиона, поэтому всех его легионеров шутливо называют Пчелками.

– Э, весь легион знает, кроме тебя? – Пантера отшвырнул в сторону камешек. – Простая ты душа, Тит, за это тебя и люблю.

– А что лезть? – прогудел Тит. – Надо – скажешь...

– Да здесь же, рядом! – махнул рукой Пантера. – С этой скалы на западе видна гора. Вот за этой горой находится... о Бахус, вечно я путаю эти дурацкие названия... Разина? Зарина? Может быть, покажу как-нибудь. Ты хороший мальчик, ты не Бибул.

– Неважно, – сказал Тит. – Послушай, Пантера... Это...

Пантера ждал, хищно насторожившись.

Тит решил.

– Уголек?

– О боги, про это тоже весь легион жужжит?!

– Нет, – смутился Тит, – просто ты во сне часто повторяешь: уголек, уголек...

– Хватит! – зарычал Пантера.

Бибул вернулся и со стоном повалился на песок.

– Ты вовремя вспомнил о Бахусе, – невозмутимо сказал Тит.

Пантера помедлил, потом глянул на Тита и положил руку ему на плечо.

– Отличная мысль. Эй, девственник! Ты с нами?

Бибул не ответил.

– Барашек готов! – рассмеялся Пантера. – Ну что, Титус, давай выпьем, а потом искупаемся. Это место уж очень напоминает мне родную Кампанию.

– Идет, – согласился Тит, принимая от Пантеры чашу, – а то солнце что-то стало сильно припекать.

– Смена дозорных вечером, – сказал Пантера, – и нам с тобой полагается в это самое время пылить, спотыкаясь о камни, по дороге в эту... Юпитер и курица! В эту Низару. Ну что ты будешь делать с этими названиями... А мы, как видишь, преспокойно греемся на солнышке и потягиваем винишко... Времени у нас достаточно и искупаться, и допить вино, и составить компанию этому сосунку насчет поспать. А к вечеру, свежие и полные сил, мы вернемся к нашему любимому Луциусу Нигру сменять дозор и... Нет, я его все-таки обыграю в кости сегодня вечером!

– Гениальный план, – сказал Тит, – ты просто стратег, Пантера. За тебя!

– За друзей! – откликнулся Пантера, поднимая чашу.

Они выпили и, отцепив мечи, принялись раздеваться. Гигант Тит обнажился первым, и Пантера невольно замедлил движения, бросая ревнивые взгляды на перекачивающиеся под кожей бывшего гладиатора бугры мышц. Наконец и он стянул с себя тунику, отшвырнул ее в сторону и пошел следом за Титом к воде. Тит не раздумывая бросился в воду, произведя невероятный грохот и подняв водопад брызг, а затем мощными размашистыми гребками поплыл вперед. Отплыв от берега на четверть стадия, он развернулся и крикнул Пантере:

– Эй! В вашей Кампании умеют вот так?

– Сейчас ты увидишь, как умеет Пантера, – сказал вполголоса Пантера.

Он стремительно и бесшумно скользнул в воду, как меч в мешок с хлопком, и надолго скрылся под водой. Тит закружился на месте, высматривая его, а потом неожиданно ушел с головой в воду, показался снова, издал дикий вопль и снова исчез. Потом он вынырнул, словно пробка, и заработал руками, поднимая вокруг себя волны и пену. Рядом с ним на поверхности воды показалась голова Пантеры.

– Ну что, Титус, – сказал Пантера, отфыркиваясь, – а в вашей Фракии так умеют?

Несколько мгновений бывший гладиатор смотрел на Пантеру, ничего не понимая, потом расхохотался.

Прятели повернули к берегу. Тит мощными гребками опередил Пантеру и первым выбрался на берег.

– Как видишь, во Фракии тоже кое-что умеют, – довольно пробасил он, идя к скале и оглядываясь на Пантеру.

Пантера с блаженным стоном опустился на песок. Тит нашел удобный для сиденья камень, прогретый солнцем, наклонился и взял в охапку отброшенную при раздевании тунику Пантеры, чтобы отложить ее в сторону и сесть. Что-то металлическое выскользнуло из туники и лязгнуло о камень.

– Что это, о боги? – удивился Тит, взяв в руку массивный серебряный крест, увенчанный странным кольцом. – Ну и чудеса...

– Дай мне, – Пантера взял крест и повертел в руках, любуясь. – Занятная штучка, верно? Ты помнишь, Титус, я тебе рассказывал про Сепфорис?

– Да, – кивнул гигант, – ты говорил, что здесь тоже была небольшая заварушка.

– Верно, если можно назвать заварушкой три тысячи крестов с распятыми... Ну, вот. После Сепфориса нас маршем перевели сюда и поставили здесь гарнизоном. Так вот, я и нашел этот крест во время того марша.

– Шутишь! Где?

– Как раз у подножия горы, в окрестностях того самого... той самой... Рази... Зина... Убей меня, Тит! Никак не запомню... Этой Зираны.

– Странно, – покачал головой Тит, – он совсем не похож на иудейского бога.

– Ха! – сказал Пантера. – Насмешил. Они поклоняются одному плешивому старичку со скверным характером, который уже мало что может сам по причине дряхлости, но грозит прислать сюда своего божественного сына для наведения порядка. Они ждут его с основания Вечного города, если не раньше!

– Сына? – переспросил Тит, разливая вино по чашам.

– Подумай сам, – осклабился Пантера, – как старикашке родить наследника? Никак, если только какой-нибудь шустрый дух не поможет, – Пантера замахал руками, изображая духа.

Прятели дружно засмеялись.

– За шустрого духа! – пробасил Тит.

Они выпили.

– Так что эта штучка не отсюда, – продолжал Пантера, разглядывая крест.

– Не поймешь, что с ним делать, – сказал Тит.

– Да, только голову поломать, – согласился Пантера.

– Из серебра?

– Дело не в серебре, Титус, а в том, что этот крест стал моим талисманом.

– Каким образом?

– А вот каким, – Пантера снова наполнил чаши. – Ты помнишь бой с германцами? Ну, тот, решающий?

– Помню, – Тит ухмыльнулся, – они кишели, как краснобородки на нересте.

– Верно. Так вот, попав в Германию, я вначале повесил этот крест на грудь и в первой же стычке, там еще, на рубке леса, поймал стрелу – точнехонько в крест! А что такое германская стрела, ты прекрасно знаешь. Подумай, дружище, сидел бы я сейчас рядом с тобой, если бы эта стрела не попала в крест?

– Не знаю, что и сказать, – развел руками Тит.

– Я тоже так, как ты сейчас, развел руками, – ухмыльнулся Пантера, – а потом забыл про этот случай. Время идет...

– Что-то не то, – нахмурился Тит. – Я помню, ты, когда пошел на медведя, разделся, и креста на тебе никакого не было.

– Тьфу! – плюнул Пантера. – Ты дашь мне хоть слово сказать?

– Я налью, – сказал Тит.

– Ну, вот. Я и говорю... Надоело мне таскать эту тяжесть на шее, и я приспособил крест к поясу, у живота. И что ты думаешь? – Пантера замолчал выжидающе.

– Что? – простодушный Тит от любопытства даже подался вперед.

– В том бою я получаю стрелу в живот! – возгласил Пантера и похлопал себя для убедительности по животу. – Под щит! В кольчуге – дыра, туника – в клочья, стрела отлетает от меня кувырком на двадцать шагов, а я – вот, сижу с тобой, винишко попиваю.

– Да, – покрутил головой Тит, – тут хочешь, не хочешь, а поверишь.

– Вот я и поверил! – кивнул Пантера. – Не знаю, в какой земле сотворен этот чудный крестик с колечком сверху, но он действует, Титус! Действует! И мне наплевать, как он называется и какого бога изображает. Крест действует – значит, я буду верить в крест.

– Ну что ж, – Тит поднял свою чашу, – тогда за крест!

– За крест.

Приятели снова выпили.

– Ну что, разморило?

– Жарко, – вздохнул Тит.

– Ладно, фракиец. Видишь вон ту скалу в воде, в двух стадиях отсюда? Ты плывешь, а я ныряю. Кто быстрее туда и обратно?

– Ну, – начал Тит, поднимаясь с камня, – как бы тебе сказать...

– Шевелись, деревня! – Пантера грузно поднялся, отряхивая с себя песок. – Ставлю кувшин этого псевдосирийского пойла! Раз... Два... Три!

Приятели с воплями и смехом побежали в воду.

А затем на камень, где только что сидел бывший гладиатор, с вершины скалы посыпалась тонкая струйка песка, за ней прокатились несколько камешков. Один из них попал в мелодичный бок кувшина и отскочил в сторону, задев по носу Бибула. Тот что-то пробормотал и повернулся на другой бок.

На вершине скалы показалась голова Ииссаха. Он подполз к щербатому краю скалы и осторожно заглянул вниз. Глаза его быстро выхватили спящего Бибула, разбросанную одежду и загорелись при виде мечей. Он перевел взгляд вдаль и увидел далеко от берега плывущего к скале Тита.

Меч! Римский меч!

Ииссах ящерицей прополз по краю скалы и скользнул вниз. Миг – и он оказался возле разбросанной амуниции, нагнулся, протянул руку к тяжелому нагретому солнцем мечу в ножнах и замер.

Крест.

Он вздрогнул от неожиданности.

Тот самый?!

Ииссах взял крест в руки. Пальцы помнили это ощущение спокойной, высокомерной тяжести уверенного в себе металла.

Он!

Римский меч был забыт. Ииссах, торопливо оглянувшись, пригнулся и снова ящерицей скользнул по скале. Через несколько мгновений он уже нырял под ветки кустарника, затем выбрался на дорогу и помчался, не оглядываясь, по дороге.

– Ух, хорошо! – Пантера выбрался на песок и отряхнулся по-собачьи.

Следом, шумно отдуваясь, вышел Тит.

– Ну, приятель, и шуточки же у тебя, – пробасил он.

– Не грусти, фракийский медведь! – Пантера дружески потрепал приятеля по плечу. – Кто победил?

– Ладно, ладно...

– Нет, ты скажи, кто победил? – Пантера подошел вплотную к гиганту. – Отвечай!

– Ты победил, ты, – проворчал Тит, не выдержав взгляда хищных желтых глаз.

Он повернулся и пошел по песку мимо разбросанных по берегу валунов, покачивая шишковатой головой. Потом остановился, осененный внезапной идеей.

– Ты победил, Пантера, но я возьму реванш! – пробасил он, подходя к ребристому каменному обломку. – Плаваешь ты хорошо, не спорю, я же покажу тебе кое-что другое.

Он обхватил обломок мощными руками атлета, оторвал его от земли и, шагнув вперед, с силой толкнул. Глухо отозвался песок, приняв на себя удар. Тит удовлетворенно потер бугры мышц на руках и добродушно улыбнулся Пантере.

– Вот так, дружище, – сказал он.

Пантера посмотрел на камень, потом на Тита и кивнул.

– Да, – сказал он, – так оно и есть. О чем говорить?

Потом он вдруг оказался у камня, словно и не совершал шагов, а исчез в одном месте и тут же оказался в другом. Он положил ладонь на обломок, помедлил немного и с кошачьей грацией обхватил его руками. Ноздри его расширились, а глаза – глаза немного смутили Тита, потому что это были уже не глаза человека, а раскаленные угли. А потом обломок оторвался от земли. Улыбка медленно сползла с лица Тита, когда Пантера сделал шаг. Его повело в сторону, но он устоял, его повело в другую сторону, но он снова устоял и затем сделал подряд несколько шагов, вошел по щиколотки в воду и швырнул обломок, взметнув во все стороны воду. Брызги окатили Тита, но он ошеломленно молчал, не пошевелившись. Пантера повернулся к Титу.

– Вот так, Титус, – сказал он сдавленным голосом.

Он нетвердой походкой вконец ослабевшего человека пошел к своей одежде и опустился на песок. Тит сел рядом.

– Пантера, ты велик, – сказал он с чувством.

Пантера закашлялся вместо ответа и сплюнул кровавый сгусток.

– Скажи мне на милость, – продолжал Тит, по-детски прижав руки к груди, – зачем тебе надо во всем быть первым?

Пантера наполнил чаши, подал Титу, взял свою.

– Не знаю, – сказал он, – пей.

– За тебя, Пантера!

– Salve!

Друзья выпили.

– Слушай, Пантера, – начал Тит и замолчал.

– Ну?

– Брат?

Пантера рассмеялся.

– Брат.

Две могучие ладони сомкнулись в пожатии.

– Тогда скажи, как брату, – сказал Тит. – Что у тебя с этим Бибулом?

Пантера не ответил.

– Не нравится он мне что-то, – продолжал Тит. – Пить не умеет, говорить не умеет...

А ты с ним нянчишься, как...

Тит неопределенно пошевелил пальцами и замолчал.

– Он должен быть мне благодарен, – сказал Пантера, – ведь это благодаря мне он не попал в Германию.

– Слушай, хватит говорить загадками!

– Верно, хватит, – Пантера резким, сильным движением налил вина, взял чашу.

– Ешь, Титус, добро пропадает, – Пантера протянул Титу кусок жареного мяса.

- Да ну его! – Тит зевнул. – Жарко, разморило на солнце.
- Тогда пей, если не хочешь есть! – засмеялся Пантера, снова наполняя чаши.
- Salve!

Они снова выпили.

– И красноречия в тебе в избытке, – продолжал Тит, покачивая массивной головой, – тебе бы перед когортами выступать с напутственным словом перед боем!

- Вспомнил Германика?
- Да, вот это был голос... До сих пор озноб по спине.

Пантера в это время с хрустом разгрызал хрящи жилистого куска мяса. Покончив с ним, он протянул руку за вторым куском.

– А что бы ты сказал, Титус, – сказал он, улыбаясь и энергично работая челюстями, – если бы узнал, что у меня был свой ритор? Представляешь, у меня, Пантеры, – свой ритор?

– Как это? – удивился простодушный Тит.

– Вот так, – Пантера взялся за третий кусок.

– Я же про тебя ничего не знаю, – сказал Тит, – рассказал бы, что ли... Мы же с тобой – единственные друзья.

- Славный, добрый Титус. Давай еще выпьем.
- Расскажи, Пантера. Мы здесь с тобой одни. Бибул дрыхнет, ничего не слышит.
- Да, славный Бибул, добрый Бибул. Выпьем, дружище!
- Я выпью, выпью, а ты рассказывай.

Вместо ответа Пантера поднялся, ушел за скалу. Титу было слышно, как тот справляет малую нужду. Потом Пантера походил по берегу, бесцельно бросая в воду камешки, вернулся обратно, сел, привалившись спиной к валуну, и поднял потемневшие глаза к небу.

Рассказ Пантеры.

Мой отец был богатым торговцем кожей. Я думаю, он сколотил состояние на поставках божественному Цезарю – армии нужны были щиты и доспехи, причем во все больших количествах. Так что к концу галльских походов имя Гая Луция Лупина кое-что значило не только у нас, в Кампании, но и в самом Риме.

(– Так ты, стало быть, не Пантера, а Волчонок¹¹, – хохотнул Тит, устраиваясь поудобнее. Пантера не ответил, по-прежнему глядя в небо, словно не услышав друга.)

Мать моя – парфянка. Она была привезена на рынок в числе прочих рабов, где ее и выкупил Гай Лупин.

(– Ну вот, – снова не удержался Тит, – все время смеешься надо мной, фракийцем, а сам – сын парфянки.

– Ромула вскормила волчица, – медленно произнес Пантера, – Ромул основал Рим, а Рим вскормил меня. Я – сын Рима, фракиец!

Глаза его снова полыхнули, и Тит прикусил язык, давая себе слово больше не перебивать Пантеру.)

Звали ее Амеллиной. Говорят, она была красавицей. Я этому склонен верить, потому что Гай Лупин влюбился в нее, а он уж разбирался в женщинах, старый сластолюбец! Он даже сделал Амеллину вольноотпущенницей, а когда появился на свет я, объявил ее своей супругой, а меня – своим наследником.

Ты будешь долго смеяться, Тит, но Амеллина хотела дать мне всестороннее образование. Может быть, она втайне видела меня, сына безвестной рабыни, знаменитым ученым? Какие

¹¹ Игра слов: имя Лупин (Lupinus) образовано от «lupus» (лат.) – «волк». Ребенок, в свою очередь, получал имя Лупинилл, т. е. «сын Лупина»

только учителя не были приставлены ко мне! Что мне они только не вещали с важным видом! Могло ли тебе когда-нибудь прийти в голову, голову воина и гладиатора, что... дай вспомнить... да! Что линия – это длина без ширины, и если ее расположить так, чтобы она упиралась в твой глаз, она обратится в точку. Не смейся и не шупай свои пороссячьи глаза. Я мог бы много тебе такого же понаплести, да ну его к Манам! *Salve!*

Одно время Амеллина даже видела меня в своих мечтах жрецом, представляешь? До сих пор с трудом переношу визг жертвенных животных. От участи жреца я избавился быстро. Но Амеллина никак не хотела расстаться с мечтами о моем великом будущем, и напоследок сходила к нашим знаменитым сивиллам. Как, ты этого не знаешь? Одно слово – варвар, хоть и друг. Почему все знатные римляне имеют виллы у нас в Кампаньи? Почему хотя бы раз в год кто-нибудь из родни Божественного да посетит Кампанию? Да потому что у нас находится священный источник, при котором в незапамятные времена воздвигнут храм с обитающими в нем прорицательницами. Короче, я прибыл туда вместе с матерью, но в последний момент сбежал, пока они занимались несчастным барашком. Я ждал ее, бродя по холмам вокруг храма и чихая и кашляя от отвратительного запаха этого священного источника. Ха! Если весь Рим справит в него нужду, вони и то будет поменьше.

Мать вышла, бледная и напуганная. Она молчала всю обратную дорогу. Что ей наговорила безумная хозяйка вонючего ручья, я узнал нескоро. Ага, тебе интересно, фракийское чудо? Наполни чаши и наберись терпения.

Кончилось счастливое время быстро, как и положено счастью. Лупин со временем охладил к Амеллине, у него появилась рыжая пышногрудая девица из добропорядочной римской семьи, Аспазия, и дело у них быстро наладилось, только вот мать моя была помехой и живым укором ему. Когда Аспазия появилась в доме, мы с матерью перебрались в пристройку для прислуги. А когда мне было пятнадцать лет, Аспазия родила, и Лупин на радостях переписал завещание, объявив новорожденного своим законным наследником. Это было не совсем чтобы законно, потому что мать к тому времени, помимо меня, родила от Лупина еще двух девочек, моих младших сестер, но кто будет прислушиваться к доводам матери троих детей, если она – бывшая рабыня, недавняя вольноотпущенница и парфянка к тому же¹²? Сама же она была слишком горда, чтобы о чем-то просить судейских крючкотворов. Ладно, пошли дальше, тем более, что дальше пойдет веселее. У меня уже зачесались кулаки. *Salve!*

Славно. Так вот, я говорил тебе о виллах римской знати. Одна из них принадлежала некоему Лицинию Гедону. Не сомневаюсь, что фракийский варвар, перед которым я блещу красноречием, даже его имени не слышал, хоть этот Лициний Гедон и был трибуном и септемвиром¹³. Но речь не о нем, хотя он был порядочным мошенником, а о его сыне по имени Марк. Он почему-то, представляешь, Тит, почему-то считал, что вся Кампанья принадлежит ему, и жители должны падать на колени при его появлении. А я почему-то, представляешь, Тит, почему-то считал себя выше этого надутого индюка. И если раньше мне это удавалось, потому что за моей спиной стояло золото моего папаша, то теперь, когда я оказался лишен наследства, все изменилось. У меня была толпа прихлебателей, и как-то незаметно все они куда-то исчезли, я остался один, слыша за спиной только злословие и ядовитые усмешки. Прозвище «ученая парфянская обезьяна» было не самым сильным из того, что до меня доносилось. Ну что ж, ученая обезьяна взялась учить обидчиков по-своему, тем более, что среди моих учителей был и ветеран-легионер, дававший мне уроки верховой езды, владения мечом и кулаком. Обидчики утихли, но стало ли их меньше, гладиатор? Можешь не отвечать. Одно скажу: Рим погубят не герои-безумцы или коварные злодеи, а обыватели.

¹² В Риме по закону мать троих или более детей получала титул «мать троих детей», что давало ей преимущественное право наследования.

¹³ Септемвир (лат.) – букв. «один из семи», член коллегии семи жрецов, занимающихся отправлением религиозных обрядов.

Эк куда меня занесло. Будешь подливать вовремя, тогда тебе посчастливится услышать Пантеру-философа, слово Гая!

С Марком мне пришлось столкнуться, но не в драке. Что ж, это – единственное светлое пятно во всей моей запутанной истории. Так что послушай хвастливого Пантеру. Весной у нас устраивались ежегодные турниры для молодежи. Марк принял участие в кулачных боях и вышел победителем. Он начал задирать всех и вызывать на бой, но с ним никто не хотел связываться – отчасти из-за его влиятельного папаши, отчасти из-за того, что Марк действительно был хорошим бойцом. Меня он тоже начал задирать. Я молчал, Тит, поверь, потому что уличные драки – это одно, а кулачный бой – совсем другое, но слова «безродный ублюдок» все-таки заставили меня выйти на площадку, огороженную веревками. А, старый гладиатор заерзал! Тогда, чтобы тебе стало еще интереснее, я скажу, что этот Марк был на три года старше меня, а шестнадцать лет и девятнадцать – это совсем не то, что сорок и сорок три.

Как проходил бой? Да никак, Тит, потому что боя не было. Было избиение. Марк бил меня, как хозяин бьет упрямого мула. Я тебе и не скажу, сколько раз я оказывался на земле, потому что не помню этого. Но всякий раз я поднимался, глядя ему в глаза. Он был на голову выше меня, Тит, и руки его были длиннее моих, он просто не подпускал меня к себе, а одним ударом валил с ног. Но я опять поднимался и снова не отводил от него глаз. Сначала это забавляло его, потом стало удивлять, потом – да, друг мой, – потом встревожило. Я понял это по его глазам, когда, шатаясь и утирая кровь, поднялся после очередного удара. А потом он устал. Я пошел на него, а он опустил руки. И я его ударил. Он упал и не поднялся. Я пошел из круга, ослепший от крови, заливающей глаза, и ушел один, прочь от толпы. А вечером прибежала взволнованная Амеллина и принесла весть о том, что Марк, перенесенный в дом, умер, не приходя в сознание. Безутешный отец, трибун и септемвир Лициний Гедон вот-вот объявит о поимке убийцы его сына, если уже не объявил. Амеллина заклинала меня бежать. И я бежал. Но знаешь, что сделал этот безродный ублюдок и убийца напоследок? Я спросил ее о пророчестве сивиллы. И она, снова побледнев и заплакав, открыла мне тайну, которую хранила десять лет. Но по мне, эта тайна не тянет ни на десять лет молчания, ни на то, чтобы называться тайной. Мать, хмурясь в усилиях воспоминаний, сказала, что потеряю все и обрету весь мир, обожгу душу и обниму Бога. Каково? Кстати, ты случайно не какой-нибудь фракийский божок, Тит? А то я готов заключать тебя в свои объятия. Ладно, ладно, простая ты душа. Уж коли поднялся, наполни чаши. О Вакх, судя по звуку, этот кувшин скоро совсем опустеет. Что ж, моя история тоже подходит к концу.

Я ушел в горы.

Аспазия тем временем пилила и пилила Лупина и добила-таки того, что он уже слышать не мог имени Амеллины. Что ж, я его понимаю. Молодая, красивая, знатная римлянка – и потерявшая красу парфянка из рабынь, без роду и племени, с двумя малолетками и одичавшим старшим сыном, которому одна дорога на галеры? И Аспазию я понимаю – женщина всегда думает в первую очередь о счастье своем и своих детей. И Амеллину я понимаю – не знаю, что там мне досталось от папаши, но гордость – от нее. Я всех понимаю, Тит! Не понимаю только...

(Пантера осекся, поднялся с песка и быстро пошел к воде. Постоял там, потом нагнулся, плеснул воды на лицо и вернулся на место.)

Лупин во время очередной пирушки сказал в кругу приятелей Амеллине, что не знает, где ее родители, а то бы отправил ее к ним¹⁴. Море доставило меня сюда, ответила она, море и примет, ушла и бросилась со скалы в море.

¹⁴ Процедура развода в то время заключалась в том, что муж публично отсылал жену к ее родителям, после чего был вправе считать себя свободным от обязательств перед нею.

Об этом мне сказали пастухи, которые неплохо ко мне относились и даже подкармливали порой лепешками и овечьим сыром.

И тогда я ушел совсем. Мне уже было к тому времени семнадцать, так что я добрался до Рима и записался в новобранцы. Вот тут мне и пригодились уроки старого легионера! Потом я попал сюда, в Иудею. После победы над Галилеянином солдатам дали отпуск. Я вернулся в Кампанию. Кто бы узнал в бравом легионере безродного ублюдка? Оказалось, что старый Гай Луций Лупин давно умер, разоренный, дом его отписали за долги, Аспазия вышла замуж – соберись с духом, Тит, – за Лициния Гедона и перебралась в Рим. Сестры затерялись в портовых кабаках. Есть хотят все, дружище, а монеты звенят в кошельках у немногих. Так что я их не осуждаю. Да, а единственный сыночек Аспазии, наследник несуществующего богатства, спросишь ты? Я наткнулся на него в толпе празднующихся, живущих одним днем. Этот «свободный гражданин», брошенный на произвол судьбы, умолял меня помочь ему. Я хотел отодвинуть его плечом и уйти, оставив его в прошлом, но потом подумал, что он приходится мне единокровным братом. Виноват ли он в том, что все сложилось именно так? Или это просто его судьба? Я решил сыграть с его судьбой и достал потертый динарий, честно заработанный в иудейских камнях. Кусок хлеба против Божественного. Или он остается при своей беспросветности, ничего не теряя и ничего не приобретая, или... Или у него появляется шанс все изменить. Динарий упал Божественным вверх, и я взял его с собой. Потом... А, ты уже зеваешь? Еще два слова, и мы поспим немного. Тряхни-ка кувшин, там должно еще кое-что остаться. Ага, я был прав!

Я нянчился с ним, а как же иначе? Я думал, время изменило его, и прошлое забыто. Время действительно изменило его. Вернее, время изменило всех нас. Я, например, верю в любовь. Молчи, или я разобью кувшин о твою пустую голову. Я знаю, что мы живем в поганое время, когда любовь означает активность самца в период течки самки и ничего кроме... Я знаю, что смешно и глупо говорить об этом мне, контуберналу и почти ветерану римской регулярной армии. И все же, знаешь, брат, я думаю иногда, что любовь – единственное, ради чего стоит терпеть эту идиотскую жизнь.

Ладно. А то еще решишь, что я пьян.

Это Уголек. Можешь не напрягать свои мозги. Я даже не помню ее имени. Ну, слаба голова на имена, что тут поделаешь!

Было это здесь, еще до Германии и Германика. А, так ты почти ничего и не знаешь! Эмилий Лонгин направил меня в город с приказом найти древодела, чтобы изготовить крест для Галилеянина. Я вспомнил о ее муже и направился туда. Пришел я вовремя, как раз, когда Авл вдвоем с Марцеллом решили показать себя настоящими римскими завоевателями. Славными такими ребятами, перед которыми все стоят на коленях. Это мне сильно не понравилось. Со мной был Воган. Или Теренций? Не помню. Может, оба. Да... К чему это я? А, вспомнил. Пьянка на пьянке, так что командование очень вовремя отправило нас на месяц по домам, аккуратно перед Германией. Ну, я вернулся с ним, с сыночком Аспазии. Думал, выдержит первый месяц муштры – значит, станет человеком. Какое! Он там швырялся ассами и денариями, а все иммуны перед ним стояли навтыжку... Как-то я наткнулся на него рядом с плацем. Он, видать, уже успел забыть, кто я ему, а главное, – кто он мне. Ну, и компания таких же рядом, папенькиных сынков с откормленными мордами... В общем, началась маленькая драка. Он на меня. А я что? Я – на него. Вот тогда он начал кое-что вспоминать. Когда вспомнил, побежал. Но местности-то не знает! А там круча. Свалился и сломал себе ногу. Крику было, как будто у него не осталось ни одной целой кости. И я, ты представляешь, Тит, я нес его всю дорогу до лагеря! Ребята наши к тому времени подбежали и шли шагах в двадцати и боялись подойти поближе. А молодцы его исчезли, как ветром сдуло. Нес я его и радовался. Странные мысли у меня крутились в голове. Вроде, с одной стороны, хорошо, что я его не тронул, и нет на мне греха. Все-таки, родня, как ни крути. А с другой стороны, возмездие его все-таки настигло,

и это, Тит, неспроста. Что? Да, я сейчас подумал, и его, и Марцелла – это уже при тебе было. Ты помнишь медведя? Вот так. Что получается? Из-за чего? Из-за любви! Ну, любовь к матери, любовь к девушке – любовь, и все дела. Вот и получается, что любовь, настоящая любовь, Тит, не нуждается в защите, а вполне способна себя защитить. И много чего еще способна... Все-таки здесь что-то есть, но не с пьяной головой об этом рассуждать.

Потом начался германский поход, а он остался со сломанной ногой. Мы вернулись, а он уже не новобранец, а исправный солдат, и улыбается мне, как ни в чем не бывало. А я зла не держу.

Ну, а остальное ты знаешь. А теперь – последний раз: *salve*, Тит, и поспим, пока есть время.

– Погоди, погоди, – пробормотал Тит озабоченно. – Что же это получается? Я не пойму. Так этот наследник, сын Аспазии и твоего отца...

– Да, – сказал Пантера, зевая и укладываясь поудобнее. – Это Бибул.

Глава вторая Мирра

Воробей, прыгая вверх и вниз по скале над спящими, долго примерялся к остаткам пиршества и, наконец, набравшись отваги, спорхнул вниз, на пузатый глиняный кувшин. Пустой кувшин ответил острым коготкам сухим кашлем, и воробей шарахнулся прочь, обратно на скалу, обиженно оттуда чирикнув.

Бибул открыл глаза. Услышав птичий щебет и недалекий плеск, он какое-то время не мог понять, где находится, и приподнялся на локте.

Кувшин, корзина, чаши, разбросанная в стороне одежда. Рядом – Пантера и Тит, оба голые. Они по очереди ритмично похрапывают: басовито и коротко – Пантера и неожиданно тонко, фистулой – Тит.

Бибул снова лег и закрыл глаза.

Все ясно. Если рядом с кувшином находится Пантера, можно биться об заклад, что кувшин пуст, как...

Как лоно девственницы.

Бибул открыл глаза.

Он вспомнил.

Молокосос, говорили они, боится юбки, и пили вино, и смеялись.

Гнев вспыхнул в нем. Обидно не то, что Пантера прав, а то, что он всегда прав.

Словно прочитав его мысли, Пантера заворочался и пробормотал что-то во сне. Бибул закрыл глаза.

Пантера... Он кичится своими мышцами и луженой глоткой. Где ему понять...

Пантера снова заворочался.

Саваянка, вспомнил Бибул.

Что там рассказывал Пантера?

Глупец. Раб и сын рабыни.

Тайна? Животное. Где ему понять...

Тайна?

Саваянки, говорят, любвеобильны...

Бибул дышал ровно и спокойно. Только оттопыренная нижняя губа слегка подрагивала.

Кто там у них был задран медведем...

Медведь? Вот, рядом с ним храпит медведь. О боги, как болит голова!

Стоп! Что говорил Пантера, лакая чашу за чашей?

Бибул снова открыл глаза.

Маленький иудейский городок...

*Рядом с горой, которая то ли видна,
то ли не видна отсюда.*

Это же совсем рядом!

Плевать. Спрошу.

И туда ведет дорога!

Бибул осторожно, стараясь не производить шума, поднялся на ноги.

На этот раз ты ошибся, Пантера.

Самое сладкое на свете – это месь.

Он осторожно обогнул спящих, выбрался на дорогу и нашел, оглядевшись, нависающую над одиночными деревьями и редким кустарником вершину горы.

Успею.

Бибул оглянулся, чтобы запомнить это место, и побежал по дороге.

* * *

Дорога вывела Ииссаха на пригорок, залитый лучами заходящего солнца, бьющего прямо в глаза. Он невольно сощурился и спустился в тень нависающей скалы. Нашел подходящий камень, сел и утер пот со лба.

Ему не хотелось возвращаться домой. Что он там не видел? Ворчание старого Иошаата, постоянно что-то вопрошающие глаза Мириам?

Надоело.

Да и в доме все изменилось. Раньше, когда семья жила вместе, было хотя бы веселей. А сейчас? Екевах давно отделился, женившись. Теперь он – главный древодел Назиры. От заказов нет отбоя – после восстания Галилеянина люди вновь стали обустраиваться, особенно жители разрушенного Сепфориса. Так что Екевах теперь уважаемый человек и считает своим долгом постоянно лезть с поучениями – к взрослым восемнадцатилетним мужчинам!

После женитьбы Екеваха на семейном совете было решено отдать Хаддаха ему в помощники. Так что и он приходит только ночевать. Осий теперь пасет овец. Ему, видите ли, тяжело управляться с выросшим поголовьем овец, и Ииссах должен – должен! – ему помогать выгонять по утрам отару на окрестные склоны, а вечером загонять обратно. Овцы, овцы... С утра до вечера в окружении овечьих морд, – самому заблестеть можно.

Скука.

Хотя... А здесь хорошо. Выгнал овец на склон горы – и иди куда хочешь. Весь мир перед тобой. Осий? А что Осий? Осий молчал и правильно делал.

С каждым разом походы Ииссаха становились все продолжительнее. Он открывал для себя новые и новые места. И с каждым разом в нем все сильнее зрело ощущение родства с окружающим миром.

Ииссах поднял голову.

У меня нет дома. Зачем мне дом, когда все это – мое?

Как красива эта благословенная земля!

Если бы только не ненавистные римляне.

Ииссах достал из-за пазухи крест.

Он, точно он!

Но как же так, ведь он все помнит, он видел своими глазами, как Иошаат бросил его в огонь! Значит, кто-то потом его все-таки достал. Но кто? Ясно одно – крест нельзя приносить домой. Значит, его надо спрятать. Он может здорово пригодиться.

Ииссах выбрал две скалы рядом одна с другой и на коленях начал рыть яму в расселине между ними, ворча на попадающие под руки камни и нетерпеливо отшвыривая их в сторону. Потом, когда яма была готова, взял крест, в последний раз разглядывая его. От креста исходила молчаливая грозная сила, непонятная Ииссаху. Он только чувствовал, что эта сила враждебна ему. А это кольцо сверху! Зачем оно?

Ииссах поднял камень потяжелее и с остервенением обрушил на кольцо, потом еще и еще раз.

– Что ты делаешь?

Ииссах поднял голову на голос.

Над скалой показалась голова черноволосой девушки с венком на голове.

Мирра.

Она с любопытством разглядывала его.

– Не твое дело, – буркнул он.

Жалко. Не успел.

– Ииссах, почему ты обижаешь меня? – прошептала Мирра.

– Мирра, мне не до тебя. Иди домой.

– Не прогоняй меня.

Ииссах убрал руки с камня, под которым находился крест.

Ну, все. Пристала, теперь не отстанет.

– Уходи в свой Медждель.

Вместо ответа Мирра вдруг засмеялась.

– Какой ты...

– Какой?

– Смешной! Посмотрел бы ты на себя, чумазого!

Смех у нее звонкий, как удары камнем по металлу.

Ииссах разозлился, сам не зная почему.

– Убирайся отсюда.

– Я не хотела тебя обидеть, – Мирра перестала смеяться.

– Неважно. Убирайся.

Крест с собой не взять, она увидит. Значит, надо прогнать ее со скалы и закончить это дело.

Она, закусив губу, продолжала смотреть на него. Ииссах сжал зубы.

– Я сказал, убирайся отсюда!

Голова ее скрылась за краем скалы. Ииссах торопливо отвалил камень, опустил крест в яму и забросал землей, водрузив камень сверху. Он поднялся на ноги, отряхивая руки.

– Ты закончил? – над скалой снова показалась голова Мирры.

– Послушай, ты! Что я должен был закончить?

Мирра вздохнула.

– Но с тобой теперь можно поговорить?

– Мне пора домой.

– Ну и иди.

Ииссах вышел на дорогу, снова оглянулся. Мирра сидела спиной к нему у края скалы. С венком на голове, освещенная заходящим солнцем, она что-то тихо напевала. Ииссах прислушался.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.

Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь,

то он был бы отвергнут с презрением¹⁵.

Ииссах прошел по дороге несколько шагов, а потом внезапно повернулся, сам не зная почему, и крикнул:

– Эй, Мирра!

Песня смолкла. Мирра вскочила на ноги.

– Что?

– До свиданья!

Ииссах бегом скрылся за поворотом.

* * *

¹⁵ Сол., 8, 7.

– Ну и холодина! Эй, фракиец, ты еще жив?

Пантера приподнялся на локте, осматриваясь. Взялся за кувшин, перевернул, потряс его и с отвращением отбросил в сторону.

– Вот так всегда... Тит, эти иудейские пески и камни начинаются в моей пересохшей глотке!

Тит, проснувшись, тоже сел, моргая распухшими глазами, потом огляделся.

– А где Бибул?

Пантера вскочил, шагнул за скалу, вернулся.

– Действительно. Эй, Бибул! Куда мог провалиться этот цыпленок?

Приятель быстро оделся, поеживаясь от холода. Берег был уже скрыт в тени скалы, и только вершины деревьев еще освещались заходящим солнцем.

– Давай, приятель, пошевеливайся, сегодняшнее дежурство окончено, – Пантера швырнул в кусты кувшин и корзину. – Бибул!

– Может, он струсил и сам вернулся в казарму? – спросил Тит.

– С него станется... Бибул! Ну погоди, щенок! Ладно, идем, времени нет.

* * *

Поравнявшись с первыми домами Назиры, Ииссах невольно ускорил шаги. Солнце уже село, и вокруг разлились спокойные усталые сумерки. Ииссах повернул к дому и застыл, как вкопанный.

Солдат! Римский солдат!

Долговязый воин в короткой тунике с гребенчатым петушиным шлемом на голове расспрашивал о чем-то пожилую женщину, испуганно закрывавшую лицо накидкой. Ииссах узнал соседку, Фамарь, жену Ал Аафея, владельца ненавистных овец. Она что-то ответила воину, потом показала рукой направление. Римлянин быстрыми шагами пошел в сторону родника.

Ииссах, облегченно вздохнув, дождался, пока долговязая нескладная фигура не скрылась из глаз, и быстро проскользнул в ворота дома.

– Ииссах, сын мой, где ты был? – старый Иошаат, кряхтя, подошел к нему, опираясь на суковатую палку. – Брат твой сбился с ног, пригоняя овец. Посмотри на него, усталого!

Ииссах встретил взгляд Осия и выдержал его. Потом снова взглянул на Иошаата.

– Вот, я посмотрел.

В дверях дома показалась Суламитт с медным подносом в руках, волосы по-хозяйски перехвачены алой лентой.

– Явился, – сказала она укоризненно, – а теперь ты потребуешь накормить тебя.

Ииссах почувствовал прилив глухого раздражения.

Каждый день одно и то же.

– Не корми, – сказал он, – я найду себе другую пищу.

– Не ссорьтесь, чада мои, – Иошаат направился к очагу, сел и протянул к огню дрожащие руки. – Дождитесь матери, тогда мы начнем вечернюю трапезу.

– А где она?

– Пошла за водой, заботливая мать, чтобы тебе умыться по возвращении, – Иошаат укоризненно кивал головой, не отводя глаз от языков пламени.

Ииссах оглядел всех. Они занялись своими делами, не обращая на него внимания.

Пошла за водой.

Ииссах сел на скамью, потом снова встал.

Туда же пошел долговязый римский солдат.

Он заходил по двору, сел, снова встал, направился к воротам.

– Ииссах, – Иошаат протянул к нему дрожащие морщинистые руки, – куда ты, что случилось?

Ииссах постоял, держась за засов ворот, потом вернулся, сел и снова оглядел всех.

– Ничего, – сказал он, – ничего не случилось.

* * *

Дойдя спорым походным шагом до лагеря, Пантера и Тит направились к своей палатке. Опцион Луций Нигр уже ждал их у входа. Сегодня держался он, несмотря на свой маленький рост, надменно и сухо. И только широкие, будто вывернутые наружу, подрагивающие ноздри выдавали в этом суровом начальнике азартного игрока в кости, а цвет могучего носа напоминал о тайной любви его к другой игре, которую можно назвать игрой в кувшин.

Пантера, подойдя к опциону, начал рапорт о прошедшем дежурстве. Луций Нигр взмахом руки остановил его.

– Оставь свое красноречие девкам, Пантера, – сказал он. – Я знаю, что во время твоего дежурства происшествий не бывает. Все в порядке?

– Да, – сказал Пантера, – если не считать того, что я жажду отыграть у тебя свой вчерашний проигрыш.

– Владеть мечом ты умеешь, – засмеялся Луций Нигр, – но бросать кости тебе еще учиться и учиться.

Пантера направился в палатку, сопровождаемый повеселевшим Титом.

– Да, кстати, – окликнул его Луций Нигр, – а где твой Бибул? Вы же втроем несли дежурство.

– Бибул? – Пантера изобразил на лице искреннее удивление. – Разве он не в палатке?

– Нет, он не вернулся еще, хотя я ждал вас троих, – Луций Нигр покачал головой, приглядываясь в Пантере. – Скажи мне откровенно...

– Как всегда, командир, – Пантера вытянулся, как на параде, и выпятил грудь.

– Брось кривляться, ты же мой помощник, контубернал! – Луций Нигр досадливо поморщился. – Скажи мне откровенно, все в порядке?

– Все в порядке, – сказал Пантера.

– И ничего не случилось?

– Ничего, – сказал Пантера.

* * *

Бибул быстрыми шагами спускался по тропе. Внизу мелькнула белая накидка. Бибул спрятался за камень и осторожно выглянул.

Она одна!

Мириам, подставив под журчащую струйку кувшин, прошла вниз по течению, где камень перегородил путь воде, образовав небольшую запруду. Она села на камень у самой воды, омыла лицо, посидела немного, задумчиво зачерпывая воду ладонью. Потом опустила в воду ноги, засмеялась по-детски и, подняв подол, ступила в воду. Бибул замер, задохнувшись. Точные, лаконичные линии смуглых нагих ног над быстрым течением, обрисовав лодыжки и колени, царственно расходились затем, образуя головокружительную лиру бедер. Бибул вытер рот тыльной стороной ладони. По лбу зазмеилась вздутая бешеным сердцем, черная в сумерках вена.

Молокосос?

Бибул сделал резкий выдох и закусил губу. Затем он вышел из-за укрытия и, перепрыгивая через камни, побежал по тропе вниз к роднику.

* * *

– Ворье поганое!

Ночную тишину, нарушаемую лишь похрапыванием и бормотанием спящих, взорвал вопль Пантеры.

– Кто посмел дотронуться до моей одежды?

Солдаты просыпались, недоуменно тараща глаза в полумрак палатки.

Привлеченный воплям часовой вошел с факелом в руке. По пологу заплясали тени поднимающихся людей.

Солдаты обступили Пантеру полукругом. Полог палатки откинулся, пропуская Луция Нигра, который недовольно шурил глаза в неровном свете чадающего факела.

– В чем дело, Пантера? Что за вопли среди ночи? Всему лагерю спать не даете!

– Иди спать, Луций Нигр, – отмахнулся от него Пантера, – если ты не желаешь видеть дальше своего носа.

Луций Нигр заворчал было насчет хромающей в контубернии дисциплины, но голоса остальных заглушили его.

– Пантера, ты можешь толком сказать, в чем дело? – бас Тита оказался громче всех.

– Дело в том, – сказал Пантера, обводя всех собравшихся внимательным взглядом, – что у нас объявился вор.

– Вор!

– Не может быть!

– А что украли, Пантера?

– Как было дело?

Солдаты сгрудились вокруг Пантеры. Сна как не бывало. Вор – это не шутка. Контуберния на военном положении живет одной палаткой, то есть, одной семьей. Жизнь каждого проходит на виду у всех. Солдаты, идущие плечом к плечу на неприятеля и делящие один кусок хлеба на всех, не могут допустить нарушения своего освященного смертью братства. Потому воровство карается беспощадно.

– Встал я по нужде, – рассказывал тем временем Пантера, – протянул руку к одежде. Я всегда так делаю, ну, привычка у меня такая, – он многозначительно посмотрел на Тита.

– Это крест, что ли, серебряный, с колечком сверху, твоя привычка? – спросил один из солдат, полный, с короткой шеей и шарообразной головой.

Пантера резко повернулся к нему.

– Откуда ты знаешь про мой крест, Виталис? – спросил он.

– Про него все знают, – пожал плечами Виталис, заметно, впрочем, смущенный.

– Да.

– Верно, Пантера.

– Живем-то вместе.

Пантера озадаченно оглядел окруживших его приятелей.

– Я давно хотел предложить тебе сыграть в кости на твой крестик, – сказал Луций Нигр. – Да ты что-то в мою палатку не заходишь.

– О боги земли и преисподней, – сказал Пантера, – веселая жизнь тут у нас.

– Ну, протянул руку по нужде, и дальше что? – спросил Виталис.

Раздался смех, снимающий напряжение.

– Я хотел сказать, встал по нужде и протянул руку, – поправился Виталис.

Смех усилился.

– Крест украден, – негромко сказал Пантера.

Смех сразу оборвался.

Солдаты, знающие друг друга еще по германскому походу, оглядывались, словно в прыгающем свете факела можно заметить вора по какому-нибудь явному признаку.

– Позор! – в сердцах сплюнул Луций Нигр. – Позор на все четыре манипулы легиона. Надо решить дело тихо. Дождемся утра и перетрясем всю вашу палатку.

– А если креста нет в палатке? – раздался чей-то голос.

– Я поговорю с каждым по отдельности, – проворчал хмурый Тит и сжал могучую руку в кулак.

– Да, – сказал Луций Нигр, – а потом мы все вместе поговорим с тобой.

– Ты хочешь сказать, что вор – я? – прорычал Тит, надвигаясь на маленького опциона.

– Тихо! – сказал Пантера. – Я найду вора. Прямо сейчас.

Наступила тишина.

– Эй, там! Огня, да побольше! – приняв решение, Пантера преобразился. Теперь он был само действие, несущее неотвратимое наказание преступнику.

Солдаты внесли еще несколько факелов. Освещенная палатка сразу стала маленькой и тесной.

Все сгрудились вокруг Пантеры.

– Топор¹⁶! – еще раз скомандовал Пантера.

– Опомнись, Пантера, что ты задумал? – маленький Луций Нигр поднял над головой руки.

– Топор! – повторил Пантера, и от его голоса у собравшихся похолодело внутри.

Кто-то сбегал за топором и подал Пантере. Пантера поискал глазами что-то на земле, вышел из палатки и тут же вернулся с камнем в руке.

Легионеры внимательно следили за его действиями. Они уже поняли, что он собирается делать. Древний магический ритуал отыскания преступника, применяемый на войне. Топор и камень – первое оружие, взятое человеком в руки. Топор и камень не подведут солдата.

Факельщики, не дожидаясь команды, подошли к Пантере и соединили пламя факелов в одно. Пантера занес топор над пламенем.

Наконец, металл принял цвет пламени. Пантера подкинул топор, ловко перехватил его обухом вверх и положил на обух камень.

– Честное железо, честный камень! – медленно, нараспев сказал он. – Можно расколоть камень, можно размягнуть железо. Но вас не обмануть, когда вы вместе. Честное железо, честный камень! Укажите преступника!

И Пантера медленно повернулся к солдатам.

Десять пар глаз не отрываясь смотрели на топор, десять пар рук невольно сжались, чтобы унять предательскую дрожь. Простые слова, размеренные действия Пантеры, безыскусность древнего воинского обряда внушали трепетный ужас.

Пантера подошел к опциону и поднес к его лицу топор.

– Эй, при чем тут я! У меня вообще другая палатка! – начал было Луций Нигр и замолчал.

В свете факелов было видно, как побледнел Луций Нигр, замороженно глядя на топор с камнем на обухе.

Выждав паузу, Пантера убрал топор. Луций Нигр облегченно перевел дух.

Пантера подошел к Титу. Для того, чтобы поднести топор к лицу гиганта, ему пришлось встать на чье-то заправленное ложе.

Пауза. По лицу Тита побежали крупные капли пота.

Снова ничего.

Пантера по очереди обошел всех собравшихся.

Последний из испытуемых перевел дух, утирая взмокшее лицо.

¹⁶ См. прим. на стр. 425 кн. 1.

Ничего.

– Ничего! – Тит нахмурил брови, как обиженный ребенок.

– Старый обряд, может, он в наше время уже потерял силу? – спросил повеселевший Луций Нигр.

Солдаты взволнованно заговорили друг с другом.

– Тихо! – сказал Пантера и подождал, пока не установится тишина.

Он все еще стоял с топором в руке.

Гул голосов постепенно стих.

– Все ли на месте? – спросил Пантера.

Солдаты стали оглядываться, отыскивая друг друга глазами.

– Воган! А, здесь.

– Где Авл? Где наш красавчик?

– Тут я, не видишь? Поищи лучше Максима.

– Он спит. Эй, разбудите Максима!

– Что пристали? Что случилось?

Потом раздался голос Виталиса:

– Бибула нет.

– Точно!

– Нет его.

– Бибул!

– Он так и не вернулся, – важно кивнул Луций Нигр.

– Пантера, ведь Бибул... – начал было взволнованный Тит.

– Тихо, Тит, – перебил его Пантера вкрадчивым голосом. – Сейчас мы испытаем Бибула.

– Как?

– Ведь его же нет!

Удивленные голоса смолкли, глаза снова уставились на Пантеру.

– Где он спит? – спросил он.

Несколько рук одновременно показали на застеленное ложе.

Пантера подошел к ложу Бибула и медленно поднес топор к изголовью.

Прошло несколько томительных мгновений, а потом камень, звякнув о металл, свалился с обуха на ложе. Раздался глухой ропот изумленных солдат. Пантера медленно повернулся к ним. Желтые глаза его мерцали в свете факелов, ухмылка плясала на лице.

– Смерть! – хрипло сказал он.

И с силой обрушил топор на изголовье.

* * *

Уже совсем стемнело, когда скрипнули ворота, и во двор вошла Мириам.

– Ай-вай, хозяйка, где можно столько пропадать! – Иошаат поднял голову от пламени очага.

– Что-нибудь случилось? – поднялся застенчивый Осий.

Мириам вздохнула и заправила прядь за покрывало.

– Нет, – сказала она, – ничего не случилось.

– Все давно остыло, – обиженно сказала Суламитт, – опять разогревать!

Мириам встретилась глазами с Иисахом.

– Ты здесь, сын мой, – сказала Мириам, – я принесла воды, иди, я полью тебе.

Иисах подошел к ней, пригнулся, протянул руки. Струйка воды из наклоненного кувшина в руках Мириам плясала и прыгала мимо его рук. Он поднял голову и снова встретился с ее глазами. Лицо ее было не смуглым, как обычно, а серым.

– Суламитт, – сказал Ииссах в сторону, глядя в упор на Мириам, – иди, полей мне.
– Занимайся трапезой, Суламитт, – так же негромко сказала Мириам, не отводя глаз от Ииссаха.

Она снова наклонила кувшин, и ровная струйка полилась на землю.
Ииссах выпрямился, отряхивая руки, взял поданное полотно, утерся.
Она победила.
– Я не буду есть, – сказал он, ни к кому не обращаясь, – пойду спать.
И направился наверх, в олею.

* * *

Утром, еще не до восхода солнца, Пантеру разбудили чьи-то возбужденные голоса, доносящиеся из-за лагерного вала. Он быстро вскочил и вышел на свежий воздух. Там уже ходил Луций Нигр, имея вид озабоченный и хмурый. Вдвоем они вышли за пределы лагеря и наткнулись на охрану, рядом с которой переступал с ноги на ногу старый иудей с редкой козлиной бородой.

– Что такое? – Луций Нигр с ходу вступил в роль начальника. – Пойманный лазутчик? Вражеский разведчик? Старая каналья!

– Сам пришел, – лениво сказал один из охранников, едва сдерживая зевок. – Говорит, что ему нужен «какой-нибудь главный из римских солдат».

– Я – опцион... допустим, начальник первой центурии первой когорты Второго Германникова императорского легиона, – важно сказал Луций Нигр. – Отвечай мне, иудей, что тебя сюда привело.

К ним постепенно подтягивались остальные обитатели палатки.

– Я – Ал Аафей, живу в Назире, это недалеко отсюда...

– Я знаю, где находится Назира. Дальше.

– Сегодня утром, добрый господин, наши женщины, пойдя поутру за водой, нашли у родника мертвого римского воина.

– Что ты сказал? Мертвый? Убит?

– Я не знаю, убит ли он, но что он мертвый – это я знаю.

– В этой стране живой римский солдат может стать мертвым римским солдатом, только если он будет убит! – проворчал стоящий рядом Пантера, ни к кому не обращаясь.

Луций Нигр строго кашлянул, давая понять Пантере, чтобы знал свое место, и воинственно наставил свой нос на старого испуганного иудея, ожидая ответа.

– Не гневайтесь на нас, добрый господин, я пришел сам сказать об этом, потому что чту законы и порядок.

– Кто убит? Солдат, иммун?

– Не могу сказать, начальник, я совсем в этом не разбираюсь.

– Как он выглядел?

– Руки, ноги длинные, сам весь такой долговязый...

– В чем хоть он был? – спросил Пантера. – Щит, шлем?

Старик посмотрел на Пантеру.

– Шлем. Такой же, как на тебе.

Луций Нигр кивнул и посмотрел на Пантеру.

– Это Бибул, – сказал он.

Раздался гул изумленных голосов.

– Пантера.

– Гадание.

– Нет, он воткнул топор в его ложе.

– Добрый господин, – снова проблеял Ал Аафей, – что нам делать?
– Тит, Максим! – скомандовал Луций Нигр. – Надо сходить в Назиру за телом. Старик покажет вам дорогу.

– Пошли! – Тит положил на сухое плечо Ал Аафея свою лапишу.

Солдаты, обсуждая новости, расходились по своим делам. Пантера прошел вал, потянулся к палатке.

Убит? Опять иудеи поднимают голову?

Он прошел несколько шагов и остановился.

Зари... Нары... Неважно, там ведь отродясь не было никаких смутьянов!

Пантера остановился. Развернулся и побежал обратно. Старик иудей медленно ковылял по дороге в сопровождении двух рослых легионеров.

– Эй, обрезанный! Постой.

Он подошел к Ал Аафею и отвел его в сторону.

– Где, ты говоришь, это произошло?

– В Назире, господин.

– Так, так... Все равно не запомню. А кто обнаружил убитого?

– Господин, я же говорил. Женщины у родника.

– Какие женщины? Кто они?

– Жена моя, Фамарь, с подругой своей, Рут.

– Так, так... И имена под стать. И других подруг не было?

– Обычно они ходят по воду втроем с Мириам, а в этот раз ее не было.

– Мириам, – медленно произнес Пантера, пробуя имя на язык.

А потом еще раз:

– Мириам.

– Да, жена соседа нашего, старого Йошаата, савеянка.

Пантера тоскливо сощурился, словно от укуса или от внезапно разболевшегося зуба.

– А кто такой этот старый, как ты сказал?

– Йошаат? Древодел наш.

– Древодел, говоришь? – Пантера помолчал немного. – Значит, Мириам с ними не было?

– Нет, господин. Видать, хворает.

– Ладно. Иди.

И снова:

– Мириам.

* * *

Неторопливо совершалась утренняя трапеза в доме старого Йошаата, когда за воротами слышались голоса, крики людей. Йошаат недовольно заворчал, торопливо жуя беззубыми деснами. Суламитт вышла узнать, в чем дело. Спустя минуту она прибежала, красная от волнения.

– Отец, солдаты, убийство!

– Что? Что случилось на этот раз?

– Римлянин! Убитый солдат!

Суламитт сбивчиво рассказала, как был обнаружен убитый римлянин, что Ал Аафей привел двух солдат, которые сейчас забрали убитого, что весь город взволнован.

– Беда, – покачал головой Йошаат.

Осий поднялся с места.

– Садись, сын мой, – Иошаат постучал для убедительности в пол суковатой палкой. – Беду лучше всего пересидеть дома.

– Овцы, отец, – извиняющимся тоном сказал Осий.

– Дождись, пока уйдут солдаты. Придет Ал Аафей, все расскажет... Или ты думаешь, что ему не дороги его овцы? – Иошаат засмеялся, довольный.

Ииссах во время всего разговора опять не сводил глаз с Мириам. Она ела, как ни в чем не бывало. Потом, вздрогнув, поймала пристальный взгляд Ииссаха, выпрямилась и отложила хлеб в сторону, спокойно и грустно глядя ему прямо в глаза.

Ииссах замер, дрожа. Потом, не выдержав, вскочил, опрокинув чаши на столе.

– Что такое, Ииссах! – Иошаат воздел к небу дрожащие руки. – Куда?

Но Ииссах был уже за воротами.

Опять!

Она опять победила!

Глава третья Дерево

Степенный, преисполненный чувства собственного достоинства ворон, сидя на горизонтально протянутой ветви исполинской сосны, водит выпуклым блестящим глазом в одну сторону, потом, склонив голову, в другую и потом, переступив цепкими лапами вбок, важно пускается в полет, черным крестом перечеркнув головокружительную зеленую бездну, напоенную разогретой солнцем хвоей. Он летит среди расступающихся перед ним деревьев и кустов, спокойно, молча, почти не шевеля крыльями, вбирая самыми кончиками растопыренных маховых перьев вибрации окружающего мира и являясь такой же естественной и неотъемлемой его частью.

Постепенно лес редет, сменяясь кустарником, сбегаящим с горы в долину, где раскинуты возделанные поля и работающие на них люди. Ворон продолжает полет; поля эти, как и лес, знакомы ему с детства, а люди – люди не способны обидеть его.

За полями тусклой цепочкой убегает вдаль речка, с золотистыми блестками песчаных берегов и прихотливой оправой камышовых зарослей. Ворон ловит восходящий поток от нагретого солнцем берега и взмывает крутой дугой, летя на боку, левым крылом к воде, а правым поглаживая солнечный диск. И на вершине дуги, когда ворон должен был величественно перевалиться с крыла на крыло и начать плавный планирующий спуск на другой берег, его полет внезапно нарушается. Вместо этого он делает несколько сильных взмахов и разворачивается обратно, к уходящему в синеву гор хвойному лесу.

Что-то изменилось в окружающем мире по сравнению с привычной ему картиной. Он еще не знает, в чем дело, но чувствует новые, чужеродные, а потому враждебные вибрации.

И потом, спустя много времени после того, как улетел ворон, работающие в поле люди поднимают головы, осматриваются, переговариваются друг с другом, а затем прекращают работу, собираясь вместе и вглядываясь из-под руки на тот берег реки.

Оттуда наползает грязноватый клубящийся дым и все явственней доносится запах гари. Запах беды.

* * *

– Пожар?

– Да.

– Что горит? Где?

– Сдается мне, что в той стороне, где амбары.

– Ой!

– О, Владыка обеих Земель, смилуйся над нами, смертными!

– Чего мы медлим? – горячится красивый, но чрезмерной, не мужской, красотой, юноша. – Пойдем, надо помочь справиться с пожаром.

– Ты невнимателен, Айсор, – качает головой старший, не старый, еще помнящий перевал своей жизни мужчина с загорелым лицом. – Взгляни на дым, – он не устремляется к небу, а стелется по земле. Значит, он тяжел. Он тяжел, ибо напоен водой. Значит, там есть люди, которые погасили огонь, и мы там уже ничем не поможем. Долг наш – удвоить усилия здесь, в поле, чтобы возместить потери.

– Но что там могло случиться, о Пап?

Старший, которого назвали Папом, медлит.

– Не знаю, но...

– Но?

Пап качает головой.

– Не хочу осквернять душу грехом навета.

Какое-то время все напряженно трудятся. Потом юноша замечает идущего к ним через поле человека.

– Смотрите, смотрите!

Усталые спины распрямляются.

– Это досточтимый Шахеб.

Да, это он. Невысокий, не выше подростка, плешивый, с ятаганом носа, смешной, подпрыгивающей походкой и прекрасными всепонимающими глазами мудреца.

Подойдя к работающим в поле, он кланяется им до земли. Люди приветствуют его в ответ.

– Мы заметили дым пожарища, Наставник, – говорит Пап на правах старшего. – Это...

Шахеб смотрит на него с грустной улыбкой, кивает и бросает одно короткое, как плевок, слово:

– Мардус.

– О, Уннефер! – снова восклицает женщина.

– Так я и думал, – шепчет Пап.

– Да, – продолжает Шахеб. – Горели амбары с зерном. Огонь заметили вовремя, поэтому ущерб хоть и велик, но не смертелен.

– Сколько же лет он не дает нам покоя! – Пап сжимает кулаки. – Что ему надо?

Шахеб все с той же грустной улыбкой кладет руку ему на плечо.

– Разве ты не знаешь, друг мой Пап? Власти – чего же еще.

– О, бессмертный Озирис, неужели ничего нельзя с ним сделать? – горячится юноша. – Сколько в его шайке людей – двадцать? Тридцать? Пятьдесят? А сколько нас, жителей Шамбалы? Сколько можно выставить отрядов против него и рассеять, как пыль по ветру, в первом же бою!

Люди вокруг переглядываются.

– Айсор молод, – говорит Пап Шахебу.

– Молодость – не помеха, а подспорье пылливому уму, если он все-таки есть, – возражает Шахеб и продолжает, обращаясь к Айсору: – Шамбала была, остается и будет оставаться противницей всякого насилия.

– Почему, если в мире так много жестокости и зла?

– Именно потому мы и должны сохранять негаснущим факел разума во мраке невежества, чтобы не потерять дорогу к Истине. Напряги свой ум, чтобы понять, что я скажу тебе в двух словах: сила – удел слабых.

– Значит, удел сильных – бессилие?

– Нет, – качает головой Шахеб, – разум.

– Что может сделать разум против ножа, подкрадывающегося к незащищенной спине? Стрелы, направленной в грудь? Сабли, летящей к беззащитной шее?

– Постарайся, о горячий Айсор, понять меня, ибо я опять отвечу тебе коротко: верить. Надеяться. Терпеть.

– И это все? – на лице Айсора написано разочарование. – А в это время Мардус со своей шайкой пережрет всех нас, как цыплят.

– Айсор! – Пап на правах старшего строго смотрит на юношу.

Шахеб успокаивающе кивает Папу.

– Значит, таковы мы и таков он, и таковы наши Сеп¹⁷, – говорит он и улыбается. – Или, как сказал бы премудрый Азнавак, наши Кармы¹⁸.

¹⁷ Сеп (египетск.) – наследственная душа, причинное, или казуальное тело человека, передающее информацию в следующие воплощения.

¹⁸ Карма (санскр.) – в индуизме то же, что Сеп у египтян.

Рядом худой, аскетичного вида мужчина горестно кивает головой.

– Мало нам его злодеяний, еще и природа взбунтовалась... Слышали весть, что принесли пастухи? После недавнего землетрясения треснула плотина, в трещины начала просачиваться вода, а если она прорвется, – воды горного озера хлынут в долину.

Наступает молчание.

– Что же нам делать? – спрашивает Айсор.

– Работать, – Пап берет за мотыгу.

– Да, но...

– Учитель знает, – говорит Шахеб.

– Знает? – женщина светлеет лицом.

– Ему уже сказали.

Айсор медлит. Лицо его выражает напряженное раздумье.

– Эту плотину возводили три поколения жителей Шамбалы, – говорит он, переводя растерянные взгляд с одного на другого. – Я знаю, что Учитель велик, но может ли он справиться с водами целого озера, если плотину прорвет?

– Может, – убежденно говорит женщина.

– Как?

– Он – Учитель, – женщина склоняется над мотыгой.

– Мне нравится твоя пытливость, юный Айсор, – улыбается Шахеб. – Я возьму тебя с собой к плотине. Туда прибудет и Учитель, и ты увидишь сам, что он умеет.

– Досточтимый! – Айсор прижимает руки к груди и кланяется.

Шахеб досадливо поднимает руку.

– Перестань, прошу тебя, перестань. А потом, хотя ты еще и не прошел первой ступени, я возьму тебя в помощники. Ты и Оэ вдвоем будете помогать мне готовить гробницу к обряду посвящения Чжу Дэ.

Эти слова снова собирают людей вокруг Шахеба.

– Чжу Дэ!

– Вы слышали?

– Калки Аватар, да будет по нему оком¹⁹! – улыбается женщина. – Как он, о досточтимый?

Шахеб довольно потирает запотевшую лысину. Видно, что он пытается скрыть свое волнение за показным равнодушием.

– Я доволен им, – с усилием говорит он и, не сдержавшись, продолжает: – Да, не случайно его выделяет Учитель. Я за всю свою жизнь не встречал более способного послушника. За один год он прошел все ступени, на что иным нужны годы и годы упорного труда! Я сказал – послушник? – он оглядывает людей. – Нет, он уже перерос меня... И после посвящения он станет таким же Наставником, равным остальным.

– Хвала тебе, Солнцеликий! – благоговейно шепчет женщина, и остальные вместе с ней поднимают к солнечному диску руки.

Затем Шахеб тепло прощается с ними и уходит в сопровождении Айсора.

Он ведет юношу тропой, соперничающей в прихотливости с речкой, за поля и дальше, к холмам, поросшим орешником.

– Скажи, досточтимый...

– Слушаю тебя внимательно.

– Что надо делать в гробнице?

– Смотри, какая птица. Сколько в ней величия!

– Ты не ответил.

¹⁹ Оком – название гробницы у египтян.

– Эх, Айсор, напряги хоть немного свой разум, и ты поймешь, что я тебе ответил... Придет срок – узнаешь. Или ты уже оробел?

– Нет-нет! А эта Оэ...

– Горяч-то ты горяч, юный Айсор, а вот задать вопрос тебе жара не хватает, – смеется Шахеб.

– Она вправду глухонемая?

– Вправду, вправду. А что – это тебе может как-то помешать?

– Нет, – смущается Айсор.

– А девушка она красивая, верно?

– Не знаю, я ее вижу нечасто и все издалека...

– Э, милый мой, – хитро прищуривается Шахеб, – истинную красоту можно заметить сразу и на любом расстоянии! Но ничего, познакомишься, может, и разглядишь вблизи ее красоту. А что глухонемая – ничего, зато тайн наших не выдаст.

– Каких тайн?

– Смотри, Айсор, кто-то идет вон там, за орешником. У тебя глаза молодые, ну-ка присмотришься.

– Это Ка... Кал... Калки Аватар, – робея и запинаясь, говорит Айсор.

– Что ты говоришь?

Шахеб взволнованно идет навстречу маленькой фигуре в белом, мелькающей среди кустов и деревьев. Да, это он.

Чжу Дэ идет неторопливо, бережно придерживая отводимые руками гибкие ветви. Теперь, когда он вблизи, его можно рассмотреть. Он сильно изменился. Волосы, прежде светлые, теперь потемнели и приобрели оттенок спелой пшеницы. Лицо утратило прежнюю подвижность и выразительность. Теперь на нем отпечаток усталости и отрешенности, как у человека, долгое время пытающегося вспомнить нечто важное. Легкий рыжеватый пушок на щеках придает ему немного суровый вид. Он вырос – на две головы выше Шахеба – но остался таким же худым и поджарым. Не изменились только глаза – такие же синие и бездонные, они остались глазами ребенка, просто и доверчиво вбирающими окружающий мир.

Но Шахеб замечает еще и грязную накидку и испачканные сажей изящные руки Чжу Дэ с тонкими длинными пальцами. Вдобавок одно пятно еще и на его щеке.

– Чжу Дэ! – Шахеб в недоумении. – Что случилось?

Чжу Дэ переводит взгляд с Шахеба на Айсора, своего ровесника, слегка наклоняет голову, приветствуя его, потом снова глядит на Наставника и молчит.

Разве он не знает, что случилось?

– Почему ты здесь?

– Потому что я должен быть здесь.

– Ты же должен готовиться к последнему испытанию перед посвящением, а не осквернять себя прахом земным.

– Обращение к праху делает душу еще чище, – тихо говорит Чжу Дэ.

– Сможешь ли ты пройти посвящение?

Чжу Дэ молчит.

– Почему ты молчишь?

Чжу Дэ говорит невпопад, словно сам с собой:

– Что важнее – посвящение или подготовка к нему? Посвящение или святость?

Шахеб оглядывается на стоящего рядом Айсора.

– Послушай, Чжу Дэ, – говорит он терпеливо, – предписания Тота-Гермеса обязывают послушника...

– Мудрейший Шахеб, – тихо говорит Чжу Дэ, – я пройду посвящение.

– Чжу Дэ, – Шахб начинает сердиться, – обряд посвящения предполагает длительную подготовку, долгие дни, проведенные в молитвах и укрощении плоти, настройку души на принятие откровения...

Глаза Чжу Дэ на миг широко распахиваются, обжигая Шахеба холодным синим огнем.

– Зачем усложнять, о Шахб? – устало говорит он. – Жизнь, – Чжу Дэ обводит рукой вокруг и показывает обожженные ладони, – вот это – лучшая подготовка к посвящению.

– Зачем усложнять? – повторяет Шахб. – Не нам судить, сложно это или нет. А во вторых, сложно это или нет, но это – именно так, и мы лишь должны...

– Плохо, – тихо говорит Чжу Дэ.

– Айсор, – говорит Шахб жадно внимающему юноше, – иди вперед по тропе, я тебя догоню.

И потом, дождавшись, пока затихнут шаги ушедшего вперед Айсора, встревоженно спрашивает Чжу Дэ:

– Почему? Ведь это правильно.

– Правильно это или нет, – улыбается Чжу Дэ, – но это сложно и потому – плохо.

– Не смейся, Чжу Дэ, это серьезные вопросы! – горячится Шахб. – Ты ищешь простоту там, где ее не должно быть.

– Я не ищу ее! – Чжу Дэ вскидывает голову, продолжая доверчиво улыбаться. – Я не ищу ее, ибо она – везде. Мир прост, ибо он самодостаточен. Мы же его усложняем сами, в силу своей ущербности.

Шахб долго смотрит на Чжу Дэ.

– Сын мой...

– Я не твой сын! – гневно говорит Чжу Дэ.

Снова наступает молчание. Шахб потрясен, потому что он никогда не ожидал от своего любимца такой выходки. Судя по смущению Чжу Дэ, он от себя тоже не ждал этого.

– Хорошо, – наконец произносит Шахб. – Ты молод и горяч, и в силу этого годишься мне в сыновья.

– Нет, – Чжу Дэ упрямо качает головой, сжав зубы.

– Но почему? Что с тобой, Чжу Дэ?

– Ничего, – Чжу Дэ медлит и через силу добавляет: – Не говори так.

– Как же мне с тобой говорить?

– Не знаю, – еле слышно говорит Чжу Дэ и вновь, после паузы, добавляет: – Прости меня.

– Ладно, – Шахб смеется облегченно. – Согласись хотя бы с тем, что кто-то все-таки есть твой отец.

Но смех застревает в его груди, потому что в следующее мгновение Чжу Дэ бросается к нему, хватая за плечи и, плача и смеясь, кричит ему в лицо искаженным в крике ртом:

– Кто мой отец?!

– Чжу Дэ! – только и успевает потрясенно прошептать Шахб.

Чжу Дэ, всхлипнув, отпускает Шахеба и отворачивается.

– Прости меня, – говорит он чужим, ломающимся голосом и уходит.

Шахб с грустью смотрит вслед ему и тихо произносит:

– Ну, если не знаешь ты, о Чжу Дэ, отца своего на этой земле, ищи тогда его на небесах...

Чжу Дэ останавливается на полпути и оборачивается к Шахебу.

– Это ты сказал хорошо, – говорит он.

И затем скрывается за поворотом тропы.

* * *

Ворон, примостившийся на протянутой горизонтально, как величественная длань владыки, ветви исполинской сосны, головокруглительно высоко от земли, сунув голову под эбеновое крыло, чутко вслушивается в звуки леса. И хотя он давно замер в этой неподвижной позе, так что, сколько ни всматривайся, его не заметишь, – ворон не спокоен, нет, не спокоен.

Запах гари с дальнего берега реки тревожит его, берedit родовую память, в которой этот запах прочно связан со сполохами пожарищ, гортанными воинственными криками, бляньем, ржаньем, мечущимися в дыму людьми, криками женщин, плачем детей и особенным, тяжелым, подавляющим слух молчанием мертвецов.

Сейчас ничего этого нет, и тишину нарушают лишь хохот безумной сойки в глубине леса, деловитое постукивание дятла, недовольное гудение шмеля у подножия сосны и приглушенная расстоянием болтовня сороки.

Ворон ждет.

Потом он внезапно оживает и с непонятым остервенением начинает долбить клювом муравьев, оказавшихся рядом с ним на ветви, словно в наказание за то, что столь малые создания оказались на столь не подобающей им великой высоте, после чего вновь замирает в той же позе, сунув голову под крыло и обратившись в изваяние.

Ворон ждет.

Болтливая сорока на сей раз не обманула – далеко, с околесья, доносится тонкий человеческий голос, напевающий бесхитростную песню.

Когда журавлиха... —

выводит голос, —

Когда журавлиха, завидев черную тучу,
но ворон не вникает в смысл, —

Расправляет ослепительно-белые крылья

И в страхе...

он просто знает, что еле слышимый голос этот принадлежит славной и доброй девушке, не способной никого обидеть, и просто слушает песню – песню, как часть этого мира.

И в страхе, стремясь укрыться от ливня, летит к скалам,
Аджакарани-река бывает тогда так прекрасна!

Когда журавлиха, завидев черную тучу, —

выводит голос, стихая напрочь вдали, так что ощутить его теперь может лишь могучая длань сосны, на которой сидит ворон.

Ворон ждет.

* * *

Чжу Дэ, пробежав по тропе, останавливается и оглядывается. Слева наплывают друг на друга холмы, все круче забираясь вверх и незаметно для самих себя превращаясь в горы. Справа – сплошная зеленая стена зарослей. Под ногами – тропа, которая неспешно, беря передышку после каждого подъема, уводит туда же, в горы.

Тропа – одна на всех.

Чжу Дэ бросается влево, взбегая на взлобье первого холма, потом перескакивая с камня на камень и цепляясь за ветви и узловатые корни, поднимается все выше. Вот одна голова

его видна над кустарником, вот уже только изредка в просветах зелени мелькнет его накидка, и наконец, он хватается за мшистый валун, венчающий переход долины в горы, и устало опускается на него.

Здесь тихо.

Чжу Дэ делает несколько вдохов, чтобы унять сердцебиение, потом встает и идет наискосок к склону, среди редких сосен и голубых елей.

...завидев черную тучу,
Ему, наверное, послышалось.

Взмывает вверх, белизной слепящей сверкая,
И в страхе...

Нет, не послышалось.

...не зная, где скрыться, расселину ищет,

Чжу Дэ замирает, оглядывается: сзади круча, которую он преодолел (мгновенное смущение, гнев – на себя – стыд и внезапное спокойствие), – и идет

Аджакарани-река бывает так прекрасна²⁰!

навстречу голосу, и когда за кустами показалась фигурка в синем платье и красной накидке,

– О боги!

Рада в испуге вскрикивает,
он уже вполне владеет собой.
замерев, потом переводит дух.

Потом краснеет.

– Чжу Дэ...

– Мир тебе, – говорит Чжу Дэ.

Рада, не отвечая, смотрит на него долго, пока не защиплют немигающие глаза.

– Вот мы и встретились, – говорит она наконец.

– Да, – говорит Чжу Дэ, – больше года...

– Четыреста семнадцать дней, – кивает Рада и грустно улыбается, – ты провел у мудрейшего Шахеба в его общине на другом краю долины.

– Четыреста семнадцать! – удивляется Чжу Дэ.

Снова наступает молчание, в продолжении которого они неотрывно смотрят друг другу в глаза, отчего весь мир вокруг начинает дрожать и медленно вращаться.

– Ты – Рада, и я – рад, – говорит Чжу Дэ старую их шутку.

И тогда они начинают смеяться, и возникшее напряжение исчезает.

– Какой ты чумазый, – говорит Рада, и Чжу Дэ рассказывает о том, что он, находясь в уединении, почувствовал что-то неладное, и успел помочь в тушении пожара.

– Шахеб рассказывал о твоих успехах, – говорит Рада. – Он гордится тобой. Тебе скоро проходить посвящение?

– Да, – говорит Чжу Дэ.

– А что потом? – спрашивает Рада неожиданно.

– Не знаю, – взгляд Чжу Дэ снова затуманивается, как будто он вглядывается в себя.

– Но ты хотя бы доволен?

– Не знаю, – снова говорит Чжу Дэ.

²⁰ Тхерагатха, 307—308.

- Ну что ж, – смеется Рада, – по крайней мере честно!
- А ты?
- О, у нас все хорошо, – торопливо говорит Рада. – На праздник весны мы освятили новую ступу, очень красивую, всю в каменной резьбе, гораздо лучше прежней...
- Хорошо, – кивает Чжу Дэ, – значит, ты довольна?
- Не знаю, – Рада отводит на мгновение взгляд.
- Ну что ж, по крайней мере честно.
- Они снова смеются, наверное, потому, что вдвоем смеяться легче. Чем грустить.
- Скажи, – спохватывается Чжу Дэ, – а что ты здесь делаешь, в этих горах?
- Разве ты не слышал, что треснула плотина, загораживающая озеру путь в долину? Отец уже там. Я несю ему вот это.
- Она показывает плоскую металлическую коробочку, переплетенную витыми шнурками.
- Что это?
- Видишь ли, я ничего не понимаю в таких вещах, но отец говорил, что это устройство усиливает мысли.
- Я не понимаю, – говорит Чжу Дэ.
- Ну, вспомни, как он учил тебя передвигать камешки. А с помощью этого...
- Я не об этом, – улыбается Чжу Дэ. – Я не понимаю, для чего нужно усиливать свои мысли чем-то извне.
- Но я же говорю, Чжу Дэ, – одно дело маленький камешек, а другое...
- Никакой разницы! – смеется Чжу Дэ.
- Рада пожимает плечами.
- Я понимаю, тебе хочется подразнить меня и посмеяться, – начинает она, – но нам всем сейчас должно быть не до смеха.
- Тем более, пойми, тем более, – Чжу Дэ тоже становится серьезен. – Ну, вот представь, что мысль – это товар... не смейся, ты сама сказала, что сейчас не до смеха... товар, который произвел наш мозг, а потребил другой человек, или дерево, или камень... Так вот, чем больше посредников между производителем этого «товара» и его потребителем, тем он дороже и хуже.
- Золото и драгоценные камни от большого количества посредников не становятся хуже.
- Разве ты не видела золотые монеты, стершиеся от прикосновений бесчисленных рук? Скажи... Учителю об этом, когда его увидишь.
- Как, Чжу Дэ, разве ты...
- Нет, Рада. Скажи ему: у души человека не должно быть посредников, направлена ли она в себя, вокруг него или к небу.
- А ты, Чжу Дэ...
- И еще, Рада, хорошая...
- Скажи еще!
- Если там увидишь мудрейшего Шахеба, передай ему, что я очень прошу его ускорить посвящение.
- Чжу Дэ, ты пугаешь меня. С тобой все в порядке?
- Да. Нет. Не знаю, – Чжу Дэ трет лоб ладонью.
- Чжу Дэ! – голос Рады дрожит и срывается.
- Дело в том, что я... Что ты... Нет, не могу. Прости, – Чжу Дэ, прижав к груди сложенные ладони, кланяется. – Тебе надо идти.
- Что ты будешь делать?
- Я... мне хочется побыть здесь.
- Рада прикусывает губу.
- ...Одному.
- Она тоже кланяется Чжу Дэ и молча уходит наискосок вверх по склону.

* * *

Тропа, преодолев несколько подъемов и поворотов, выводит на плато, у края которого расположено горное озеро с хижинкой среди скал, – то самое, на льду которого было так жарко маленькому Чжу Дэ. Нет, маленького Чжу Дэ ведь не было никогда, – был маленький Иудж, которого сейчас никто не помнит.

Пространство между озером и обрывом в долину представляет собой гигантскую подкову, полукольцом охватывающую узкую часть озера. Но если приглядеться повнимательнее, то можно заметить правильность подковы, ее симметрию, что так редко в чистом виде встречается в природе. И тогда только приходит понимание того, что эта подкова – дело рук человеческих и на самом деле представляет собой плотину, удерживающую озеро на краю плато.

С обеих сторон подкову сдавливают горы – не подражания горам у холмов между плато и долиной, а всамделишные горы, величавые мосты между землей и небом. Здесь, у их подножья, жаркий солнечный день, а выше – горы по грудь закрыты облаками. А еще выше, выше облаков, за этими горами встают синие исполинские пики, покрытые вечными снегами – хранители Вечности, Гималаи.

По ту сторону долины высятся такие же горы, уходящие в облака. Там, в этой круговерти снега и ветра, – перевал, которым прошел маленький Иудж. Но кто сейчас об этом помнит?

По эту сторону озера, у широкой его части, собрались люди, человек десять-двенадцать. Здесь нет зевак, все буднично-просто.

Выйдя к озеру, Рада замечает стоящих в стороне Наставников вместе с отцом и направляется в их сторону.

Даже среди Наставников, хранителей человеческой мудрости и тайн мироздания, Учитель выделяется, хотя одет очень скромно и больше слушает, чем говорит. Вот и сейчас он, будучи гораздо выше Шахеба, вежливо наклонил к нему голову и слушает его взволнованную речь, время от времени кивая головой.

О, отец, ты как Гималаи среди гор!

Время не властно над ним. Только резче стали морщины на лбу, а седые волосы, перехваченные лентой, выбелены, как свежеснеженный снег.

– ...И, наконец, эта фраза насчет отца, – доносятся до Рады последние слова Шахеба.

– Мир тебе, почтенный Шахеб, – здоровается Рада.

– И тебе, луннолика!

– Ты? Хорошо. Давно пора, – Раффи кивает Раде и заканчивает беседу. – Да, милый Шахеб, все это весьма серьезно, – он устало трет крупный нос, – Не дай, друг мой, потоку событий превратиться в сель, сметающий все на своем пути.

– Шестнадцать лет – вихрь! Ураган! – Шахеб поднимает руки, и оба смеются.

Наконец, Раффи принимает от Рады плоскую металлическую коробочку, вешает ее на грудь и направляется в сторону озера.

– Друзья мои! – голос его разносится далеко во все стороны, хотя он говорит спокойно, почти не повышая голоса. – Я прошу вас быть внимательными и соблюдать осторожность. Еще лучше, если вы поможете мне.

– Как? Учитель, скажи нам, – раздаются удивленные голоса.

– Желайте мне успеха, – улыбается им Раффи и поворачивается в сторону гор, не слыша смеха в ответ, как оценки его тонкой шутки.

Ловкими движениями он оплетает голову витыми шнурками, тянущимися от коробочки и встает, расставив ноги, опустив руки и низко склонив к земле голову.

Наступает тишина, звенящая натянутой тетивой. Все взгляды устремлены на Учителя, который все также неподвижно стоит, словно врастая в землю и наливаясь загадочной и потому

пугающей силой. Потом, когда исходящая от него сила стала ощутима на расстоянии людьми, как горный склон, покрытый снегом, за секунду до схода лавины, он медленно, невыносимо медленно, неотвратимо медленно начинает поднимать дрожащие от напряжения руки.

Все, что произошло потом, будет впоследствии пересказываться по-разному, более, но чаще менее правдоподобно. Поскольку все внимание присутствующих было сосредоточено на Учителе, никто не осознал того мгновения, когда одна из гор, особенно близко подошедшая к подкове плотины, дрогнула и сдвинулась с места. А когда люди, не веря своим глазам, уставились на невиданное зрелище, гора уже переместилась на середину подковы, всей своей массой подперев плотину.

Потом Раффи делает глубокий вдох, как человек, долго сдерживающий дыхание, и опускает руки. Плечи его поникают. Он также буднично снимает со лба плетеные шнурочки и поворачивается к собравшимся лицом.

И только когда до людей долетает могучий гул потревоженной земли, а от противоположного берега озера вздымается горб водяного вала, с грохотом разбившегося об этот берег и донесшего до ног собравшихся грязную пену пополам с песком и вырванной травой, они понимают, что все кончено. Оцепенение оставляет их; они переводят взгляд с Учителя на гору и обратно, в громких возгласах и смехе давая выход накопившимся чувствам.

– Учитель! Наш Учитель! – доносятся крики.

– Друзья мои, – говорит Раффи, – давайте вернемся каждый к своим обязанностям. Как вы знаете, у нас у всех их много.

Собравшиеся расходятся, продолжая оглядываться на гору, вставшую между озером и долиной. Наставники, полный Порфирий, маленький высохший Шахб и всегда серьезный Ахав, подходят, чтобы выразить свое почтение увиденным, ибо они в очередной раз увидели, что он – воистину Учитель учителей. Рада подбегает к отцу и целует его в лоб.

– Ну, полно, полно, стрекоза, – ворчит Раффи, – уж тебе-то чему удивляться, если и ты можешь пользоваться этой игрушкой.

– Да, ты мне показывал, – кивает Рада, – но я бы сама никогда не решилась на такое.

– Решение приходит, когда это действительно надо, вот и все, – говорит Раффи.

– А вот Чжу Дэ говорит, что...

– Чжу Дэ? – восклицает Шахб. – Ты его видела? Где он?

– погоди, старый мальчишка, – говорит ему Раффи и обращается к Раде. – Так что говорит Чжу Дэ?

– Он говорит, что на самом деле это устройство не нужно.

– Вот как! И ты, Раффи, называешь мальчишкой меня? – горячится Шахб.

– Ты считаешь, что это возрастное? Боюсь, что нет, – Раффи качает головой. – Что еще говорил Чжу Дэ?

– Он... Да, он сказал – это его слова, – что у души не должно быть посредников. И что он просит тебя, многомудрый Шахб, ускорить подготовку к посвящению.

– Он так и сказал? Радость моя, Чжу Дэ! О, Владычица неба и звезд! – Шахб прижимает руки к груди. – Раффи, пресветлый, позволь мне...

– Друг мой, что за церемонии? Конечно, иди! Когда ты хочешь провести испытание?

– Два дня на подготовку... На третий день, считая от сегодняшнего.

– Хорошо. Иди, славный мой Шахб, у тебя много дел.

Шахб торопливо уходит в сопровождении Айсора. Раффи присаживается на камень, разогретый солнцем, жестом приглашая Раду на камень рядом.

– Отец, по-моему, это просто дерзкие слова хвастливого мальчишки, который сам не знает, чего он хочет.

– Ох, какие праведные речи я слышу от тебя, великовозрастная ты моя и рассудительная! Всегда ли ты знаешь, чего хочешь?

Рада краснеет, потом внезапно, потупив голову, еле слышно говорит:

– Да.

Раффи гладит ее по голове и целует в лоб.

– Может быть, именно в этом разница между ним и тобой, – говорит он задумчиво и, отерев ладонью лицо, продолжает: – Этот мальчик удивлял и продолжает удивлять меня. Я внимательно слежу за ним. Он с легкостью перепрыгивает ступени, по которым его ведут Наставники. Ему тесны их рамки.

– А если их убрать, эти рамки?

– Ни в коем случае! Эти рамки, эти ступени шаг за шагом совершенствуют душу, шлифуют ее и, в конечном счете, одухотворяют. Ибо дух – это ограничение.

– Разве дух – это не свобода, отец?

– Чем отличается дикая полынь от розы в саду? Человек прививает черенок, пересаживает на другое место, подрезает растущий куст, то есть насильственно вторгается в жизнь растения таким образом, что вынуждает его усиливать одни свои качества, такие, как величина цветков, их аромат, ценой утраты других качеств, таких как выносливость, приспособляемость или плодовитость. То же и с дикими зверями и одомашненными. То же и с человеком. То же и с Вселенной, ибо тяготение, кривизна полей и тонких оболочек, само время – это ограничения, которые налагает на себя Мировой Дух. Не будь их, вокруг безраздельно царил бы хаос. Поэтому талант, как дар Духа душе, – это всегда ограничение, отречение от чего-то во имя своего раскрытия. Сними эти ограничения – и ты получишь дикаря.

– Мардус, – негромко говорит Рада.

– Правильно. Вот хороший пример великих возможностей, которые оказались нереализованными – из-за того, что в какой-то момент были сняты или ослаблены рамки. Интересно их сравнить – Мардуса и Чжу Дэ. Один с упоением ломает все условности, затапывая свой дар в грязь, находит в этом какое-то болезненное удовольствие и грешит, надо признать, весьма искусно, даже талантливо. Другой играючи перерастает все рамки и, тем не менее, оглядывается в поисках новых рамок, сознательно, тоже с болезненным самоистязанием загоняет себя в них, – чтобы перерасти и их тоже. Порой я ловлю себя на том, что не знаю, что будет, когда возможности мои и Наставников окажутся исчерпанными и он перерастет все наши рамки. Более того, – Раффи покачал белоснежной головой, – я не знаю, с каким чувством я жду этого, – с нетерпением и интересом или болью и тревогой.

– Что с ним, отец? – негромко спрашивает Рада. – Я боюсь за него.

– Бедный мальчик, он сейчас в том возрасте, когда особенно важно влияние отца, и даже не само влияние, а просто сознание того, что он есть. Где, ты говоришь, его видела?

– По ту сторону плато, на окраине леса. Только, отец...

– Что, Рада?

– Он не хочет ни с кем разговаривать.

– Успокойся, – Раффи встает и снова целует Раду в лоб. – Я не буду с ним разговаривать. Бери игрушку и ступай домой. Я не задержусь.

* * *

Над скалой недалеко от хижины осторожно высовывается голова, цепким взглядом окидывает опустевший берег озера.

Это Мардус.

Он еще раз смотрит на передвинутую гору, потом вниз, где по склону осторожно спускается Раффи.

– Неплохо, совсем неплохо, – говорит он. – Маленькая-маленькая коробочка и большая-большая гора, да? Вот и ладно.

Голова его снова исчезает за скалой.

* * *

Раффи замечает Чжу Дэ на фоне плотнотканого ковра леса, когда тот, изогнувшись упрямым чинаром на крутом склоне, медленно преодолевает каменистый гребень в черных блестящих россыпях обсидиана, и негромко окликает его. Чжу Дэ оглядывается на крик и, завидев Учителя внизу, выпрямляется, так что голова его оказывается выше кромки леса – ворох пшеничных колосьев, брошенный в синее небо. Раффи машет ему рукой и поднимается к нему.

– Вовремя я тебя заметил, – он, улыбаясь, переводит дух и оттирает лицо ладонью, – мне ведь за тобой не угнаться. Мир тебе, отшельник.

– И тебе, – тихо отвечает Чжу Дэ. – Что-нибудь случилось? Нет? Что же тогда – Учитель пришел к нерадивому ученику?

– Я соскучился по тебе, – просто говорит Раффи.

Чжу Дэ молчит, глядя в сторону и отвернувшись. Потом поворачивается к Раффи.

– Прости меня, – говорит он, – я...

Раффи поднимает руку, останавливая Чжу Дэ.

– Пойдем, – говорит он.

И направляется к лесу, что набирает силу отсюда, от гребня, впитывая зеленые ручейки, стекающие с окрестных склонов, а затем неудержимым валом затопляет медленно уходящее вверх плоскогорье.

Раффи идет вглубь леса, легко и бесшумно ступая по долгогривым волнам травы и мха, чуть впереди Чжу Дэ, как когда-то, давным-давно, вел маленького Иуджа к озеру на испытание. Лучи полуденного солнца, пробиваясь сквозь зеленый шатер над их головами, освещают его белую голову короткими сполохами. Раффи идет неторопливо, внимательно рассматривая лес, усердно кланяется, ныряя под лапы ельника, осторожно переступает поваленный бурей ствол, с жадным интересом склоняется к рассыпанным в сыром зеленом полумраке жемчужинам ландыша. Вспугнутый заяц, с треском рванувший от них сквозь сухостой, зажигает его доверчивые глаза в сетке морщин мальчишеским азартом. Он идет, и эта прогулка по лесу, как и все, что бы он ни делал, совершается просто, буднично, но вместе с тем как-то особенно вкусно, так что невольно захватывает, заставляет глядеть на все его глазами, и тогда каждый шаг его оказывается преисполнен особого, скрытого смысла, а мир вокруг утрачивает привычное дробление на низменное, возвышенное, будничное или торжественное, а незаметно и вдруг становится единым, пронизанным мерцающим светом единосущности, и сам он при этом воспринимается неотъемлемой частью этого мира.

Чжу Дэ идет за Учителем, чуть сбоку. Лишь иногда он украдкой бросает взгляд, полный затаенной нежности к этому непостижимому человеку, все идущему безостановочно вперед. Вновь вспомнив их встречу, первые слова, он вспыхивает румянцем стыда за себя, дерзкого и безответственного. Раффи... Сколько такта в тех немногих словах! Им не было сказано ничего особенного, а Чжу Дэ затопила теплая волна любви и заботы, идущая от этого человека.

Мне никогда не стать таким, как он.

Раффи останавливается, оглянувшись через плечо, и переводит дыхание.

– Я не устал, Учитель, – говорит Чжу Дэ и снова краснеет. – А ты? – добавляет он.

– Ничего, – улыбается Раффи, – осталось немного.

И снова трогается в путь.

Плоскогорье незаметно становится все круче, а лес, как ни странно, – все гуще. Но не той густотой, когда молодые деревца теснят и изводят друг друга, а могучей, внушающей невольное почтение сплоченностью дружины, добрый век плечом к плечу встречающих радости и беды. И тогда по странному этому сочетанию подъема склона и зрелой красоты леса становится

понятно, что здесь – верхняя точка плоскогорья; отсюда лесу уже ничто не мешает безостановочно изливаться дальше и вниз, на три полета стрелы, пока зеленый вал не разобьется о твердыни Гималаев.

Верхняя точка эта образует нечто вроде округлой ровной ступени, перед которой останавливаются вековые дружинники, словно придворная свита перед тронем своего государя.

А на троне этом одиноко стоит сосна.

Чжу Дэ невольно скользит взглядом вверх, и глаза его широко раскрываются, когда он замечает, что ствол сосны не ветвится на привычной человеку высоте, а продолжает могуче и безостановочно тянуться все выше вверх, уходя за вершины окрестных деревьев.

Он оглядывается на Раффи. Учитель, улыбаясь, отирает лицо ладонью и оглаживает бороду.

– Давай немного посидим, – говорит он и жестом приглашает Чжу Дэ к нагретому солнцем гранитному зубу, вышедшему на поверхность.

Чжу Дэ усаживается рядом и смотрит на сосну.

*Он смотрит на сосну,
вбирая синими глазами невиданную комлевую часть,
берущую начало от разлапистых корней,
надежно взявшихся за гранитное основание,
чтобы вся грандиозная надземная часть
спокойно царила в воздухе.
Ствол в три обхвата не кажется толстым, —
только охватив взглядом все дерево,
можно почувствовать соразмерность всех его частей,
и эта соразмерность рождает ощущение легкости,
почти невесомости,
так что дерево кажется свободно парящим в воздухе,
и от сочетания громадности и парения захватывает дух.
А потом сосна представляется воплощением человеческой жизни.
Выходящие кое-где на поверхность узловатые корни
выскоблены ветром и влагой
до желтизны могильных костей; уйдя навсегда в землю,
они словно продолжают нести на себе
груз последующих поколений.
Комель изборужден глубокими змеящимися вдоль морщинами,
напоминая натруженные руки старухи цвета земли, которая
так близко.
Ствол горделиво налит соками, словно тело зрелой женщины,
в расцвете красоты и плодовитости.
Еще выше, у начала кроны, пленительные изгибы
и повороты янтарной, подсвеченной солнцем плоти
говорят о невесте в зеленом брачном наряде.
На вершине переплетение мелких веточек
с шаловливо растопыренными длинными пальцами хвоинок-
сеголеток – девочка, совсем еще подросток, узловатая,
большеглазая, встающая на цыпочки и вытягивающая худую
шейку, чтобы заглянуть, хотя бы на мгновение заглянуть в свое
будущее.
Наконец, у самых кончиков веточек, там,*

где хвоинки собраны в старательный пучок,
таятся глазки почек, словно новорожденные,
заботливо спеленутые и вознесенные к самому солнцу.
Взгляд снова охватывает всю сосну целиком,
и соразмерность ее частей диктует необходимость
вообразить под землей корневую часть,
как зеркальное отражение кроны,
и тогда сосна перестает быть просто деревом,
а представляется неким надсознательно созданным странным
существом о двух головах
со своим, непостижимым одноголовым двуногим,
смыслом жизни, – о двух головах,
каждая со своим сознанием, соединенных прямой перемычкой
ствола.

А впрочем, почему прямой, – природа не терпит прямоты;
ствол этот обладает кажущейся прямоотой,
складывающейся из бесчисленных неправильностей, изгибов,
трещин, неровностей, выемок и свищей.
И, в свою очередь, крона, напоминающая голову младенца
в кудряшках, складывается из бесчисленных закруглений
и водоворотов формообразующей плоти, повторяющих ее
очертания,
те же кудряшки, но иначе, на ином уровне, тоньше, инозначно, –
и так вплоть до немислимо малых размеров, до той грани, что
разделяет плоть
от пугающей и восхитительной пустоты, —
восхитительной, потому что пустота опровергает себя,
извергая ежесекундно из себя плоть, —
ничто, рождающее нечто, или не-сущее, рождающее сущее, –
так что граница между сущим и не-сущим зыбка и неуловима,
колеблется и изгибается,
здесь и сейчас повторяя те же очертания,
те же кудряшки, но на своем, инобытийном, уровне.
Тогда иначе воспринимается все дерево;
взгляд охватывает его целиком,
но не само по себе, а со всем окружением:
от молчаливой свиты у подножия
до гудения невидимого отсюда шмеля,
от стайки незабудок под ногами
до пляски пылинок в столбе солнечного луча,
напоенного терпким запахом разогретой смолистой хвои.
Тогда становится ясно, что здесь и сейчас нет ничего лишнего,
нет малого и большого, незначительного и важного.
Все, входящее в оком, исполнено вибрациями своего
существования,
и вибрации эти, сливаясь, создают сложную и неповторимую
музыку именно этого пространства
именно в это мгновение и, более того, – они образуют условия
существования этого пространства и времени именно таким.

*И царица-сосна владычествует здесь не сама по себе,
а напротив, —
она обязана своим существованием
гудению рассерженного имеля в отдалении,
тихой настойчивости гриба в развилке корней,
застывшему неподвижно ворону
на горизонтально протянутой ветви,
пляске пыльцы в столбе солнечного света,
деловитой суете неутомимых муравьев,
вспыхнувшей среди травинки, наискосок им, паутине.
Взгляд синих глаз охватывает исполинскую сосну
от корней до кроны,
но не внешнюю, изменчивую и поддающуюся распаду,
оболочку, а ту, исконную, нутряную,
составляющую прообраз или, вернее, пра-образ сосны.
Он, величественный, наличествовал век тому,
когда из набухшего крылатого семечка
проклюнулись навстречу солнцу
первая пара боязливых мягких иголок.
Он, царственный, наличествовал тьму веков тому,
когда на месте этого леса
катились одна за одной волны доисторического моря,
ибо великая цепь перемен вела и привела
к его теперешнему воплощению.
И вот она стоит, в величавом своем спокойствии.
Но спокойствие это кажущееся,
потому что условна и зыбка граница между нею
и окружающим миром, и, составляя единое с ним целое,
она проникает, врастает, всживается в него,
ловя напряженными хвоинками малейшее биение
на границах своего существования.
И луч, пронзивший невообразимую холодную даль,
чтобы коснуться простершейся в дремотной неге ветви,
не кажется наградой дереву,
ибо не может быть наградой часть целого.
Вот тогда-то сосна оказывается чем-то большим,
нежели дерево,
и большим, чем воплощение своей сути, —
сила, вызвавшая ее существование, та надмирная сила,
что запустила мерное биение жизни в мертвом доселе прахе,
явила в ней свой многожды изменчивый облик и ушла,
обратясь в другие пространства, оболочки и формы.
Но сосна —
сосна сохранила эту мерцающую искру,
и, отталкиваясь от праха и напрягая все силы туда,
куда зовет ее внесосновая, надродовая память,
она перестает быть деревом,
она — мост, перемычка,
пуговина между землей и небом,*

*хаосом и космосом,
прахом и Духом.*

Ворон, расправив крылья, черным крестом наискосок падает сквозь напоенное солнцем зеленое пространство и летит дальше, вглубь уходящих вниз от трона деревьев.

Чжу Дэ вздрогнув, оглядывается. Раффи сидит, полузакрыв глаза, и губы его шевелятся.

– Что ты говоришь, Учитель? – спрашивает Чжу Дэ.

– Тебе ничего не показалось странным? – по-прежнему не открывая глаз, спрашивает Раффи.

– Нет, а что?

– Может быть, показалось, – Раффи открывает глаза и встает. – Пойдем?

Чжу Дэ кивает, и они уходят, – Учитель немного впереди, как много лет назад, когда вел маленького Иуджа к замерзшему озеру на испытание.

* * *

У опустевшего подножия трона какое-то время тихо, а потом тишину нарушают чьи-то голоса, смех, треск сучьев. Затем в ствол с силой врзается пущенный умелой рукой топор.

К подножию выходит Мардус со своими телохранителями.

– Отличное местечко, – говорит он, оглядываясь, – тут чувствуешь себя младенцем на руках у кормилицы.

– Вот с такой грудью, – подхватывает один из приятелей.

Компания хохочет.

– Посмеялись, жеребцы? – Мардус опускается на землю у корней сосны. – А теперь слушайте своего командира, отца-кормильца. Здесь будет наш временный лагерь. Один разводит костер, другой приводит сюда всех остальных, третий добывает еду, а то я от голода начну грызть кору... Двое неотступно находятся при мне, потому что, – Мардус потягивается и зеваает, – потому что мои планы могут в любой момент измениться.

Люди расходятся. Оставшиеся двое усаживаются рядом со своим вожаком.

– Послушай, Мардус, – спрашивает один из них, – а то, что ты говорил насчет горы, – тебе не померещилось?

– Такое может померещиться только тебе, Малх, – говорит Мардус, сосредоточенно шлифующий лезвием кинжала свой любовно выращенный ноготь на мизинце, – а мне, если что и может померещиться, то красивая девушка, к примеру, царский трон или голова Калки Аватара на колу. Конечно, не померещилось! – он снова оживает. – Вы только представьте себе – раз, два, и готово. Маленькая-маленькая коробочка – и большая-большая гора.

– Раз, два, и готово, – повторяют приятели, Малх и Хор.

– Заполучить бы ее, – мечтательно говорит Мардус, – и можно стать повелителем мира!

– Коробку унесла девчонка? – спрашивает Малх. – Круглым путем, по тропе мимо полей, она дойдет нескоро. Напрямик, через лес и обрыв, можно ее перехватить.

– Да, мой верный Малх, – Мардус презрительно сплевывает, – сообразительности у тебя не больше, чем у дохлого шакала. Она при виде тебя возьмет свою маленькую-маленькую коробочку, и большой-большой Малх проваливается в глубокую-глубокую преисподнюю.

Они смеются.

– Стрела летит быстро из-за куста, – цедит уязвленный Малх.

– Родной мой, – ласково говорит ему Мардус, – я прикажу отрезать твой язык и затолкать его тебе в задницу, если ты скажешь мне об этом еще раз. И вообще, хватит о ней!

– Ну, если о ней нельзя, тогда можно о глухонемой, к которой ты до сих пор крадешься по ночам? – ядовито спрашивает Малх.

Хор смеется.

Мардус, нахмурившись, тянется к кинжалу у пояса, но вдруг взгляд его затуманивается.

– Оэ? – говорит он. – Может быть, может быть...

– Может быть, ты не дохлый шакал, мой высокоумный Малх, а настоящий волк, – Мардус снисходительно хлопает того по плечу, – потому что ты дал мне хорошую мысль.

– Какую, начальник? – спрашивают оба.

– Тихо! – останавливает их Мардус. – Теперь я буду думать, чтобы маленькая-маленькая мысль стала планом большого-большого дела.

* * *

На исходе следующего дня ближайшие посвященные выводят Чжу Дэ из его кельи в отдалении от домов герметической общины. Он в белоснежных одеждах, задумчив и решителен одновременно. Его встречают члены общины, выстроившиеся по обе стороны дороги, по которой продвигается шествие. Дети, мужчины и женщины, – одни из них приветствуют Чжу Дэ, другие оплакивают. Многоголосый хор, состоящий из криков радости и смеха и скорбных стонов и слез – да и белый цвет его одежд – это не только цвет надежды, но и цвет смерти – провожает его всю дорогу до отдаленной от жилья ровной площадки, на которой высится небольшая, в тридцать локтей, но внушительная пирамидальная гробница. Провожающие здесь останавливаются, ибо дорога дальше доступна лишь посвященным. Они ведут Чжу Дэ в сторону от гробницы, за нагроможденные в кажущемся беспорядке каменные глыбы. Здесь, у потайного входа в гробницу, Чжу Дэ и сопровождающих его встречает Шахоб с чадящим в лучах заходящего солнца факелом.

Чжу Дэ останавливается перед ним, склоняя голову в поклоне.

– Приветствую тебя, наследник учения Пса и Луны, мудрость которого не исчерпана до сих пор поколениями толкователей.

Шахоб говорит торжественно, но голос его дрожит от волнения.

– Приветствую тебя, Хранитель великого учения, чью мудрость не исчерпать тем, кто делит с тобой кров, пищу и солнечный свет, – почтительно отвечает Чжу Дэ.

– Ты прошел по всем ступеням постижения тайных знаний земли, – продолжает Шахоб, – ты постиг устройство камней, растений, животных и человека; ты познал искусство врачевания и возведения мостов, храмов и домов; ты понял тайну Числа и Музыки; ты в совершенстве изучил то, что именуется Первым кругом, или темным знанием. Подтверждаете ли вы мои слова? – обращается он к присутствующим посвященным.

– Подтверждаем и разделяем, о Учитель, – отвечают они с поклоном.

– Готов ли ты сделать шаг для того, чтобы вступить во Второй круг, круг величайшего знания Гермеса, – знания Озириса четырехсущностного?

– Готов, – отвечает Чжу Дэ.

– Все живое проходит путь от рождения к смерти, возвращаясь к породившему их Свету и замыкая тем самым великий круг превращений. Теперь ты должен пройти этим путем мертвых, чтобы воскреснуть в новой своей сущности, исполненной Света. Готов ли ты вступить в царство Озириса?

– Готов, – отвечает Чжу Дэ.

По знаку Шахеба Чжу Дэ подносят чашу с теплым и горьковатым питьем, а Шахоб поднимает факел и обводит им пылающую окружность вокруг головы Чжу Дэ, после чего гасит его.

Чжу Дэ идет вслед за Шахебом (четверо посвященных остаются у входа) во внутренние покои по узкому коридору, своды которого постепенно понижаются, так что совсем скоро им приходится пробираться вперед низко нагнувшись. Кое-где, а по мере продвижения вперед все реже, у стен светильники, в мерцании которых на стенах проступают изображения зверей, птиц

и растений; их приходится скорее угадывать, чем видеть, отчего они кажутся пришельцами из другого мира. После неожиданного поворота влево и вниз светильники пропадают, так что дальнейший путь проходит в полном мраке.

Наконец, по мерному дыханию впереди Чжу Дэ догадывается, что Шахеб остановился. Здесь холодно, зато можно стоять почти во весь рост, а тело не ощущает давления окружающих стен, в чем Чжу Дэ убеждается, проведя рукой вокруг и встретив пустоту.

– Закрой глаза, – вдруг говорит Шахеб.

Чжу Дэ повинуется, не успев удивиться странному приказу.

– Теперь открой, – вновь говорит Шахеб.

Чжу Дэ открывает глаза и невольно щурится от непривычного света, заполняющего каменный склеп со сводчатым потолком, в центре которого стоит мраморный саркофаг.

Солнце – здесь, в подземелье?

– Пройдя дорогой мертвых и вновь воскреснув в этом саркофаге, – говорит Шахеб негромко, – ты преисполнишься света подобно тому, как он заполняет келью, спрятанную в чреве каменной гробницы.

Голос его звучит странно, преломляясь в каменном переплете свода.

– Я уверен в тебе, – продолжает Шахеб, – но долг Наставника обязывает спросить тебя еще раз: исполнен ли ты мужества, чтобы достойно пройти через смерть и воскрешение в царстве Озириса?

– Готов, – глухо говорит Чжу Дэ.

– Солнце скоро зайдет, – говорит Шахеб, глядя на тускнеющие стены.

Чжу Дэ кивает, сглотнув комок, подступивший к горлу.

Я люблю тебя, милый, добрый старик.

– Но оно взойдет снова, с тобой и в тебе, – говорит Шахеб и отступает к выходу из кельи.

Чжу Дэ укладывается в саркофаг, леденящий тело.

Я часто противоречил тебе и спорил с тобой; и сейчас я иду на это испытание не потому, что согласен с тобой, – мною движет любовь.

Свет так же внезапно меркнет.

Чжу Дэ остается один в темноте гробницы.

* * *

Ночь.

Айсор просыпается от смутного ощущения тревоги. Он приподнимается на локте и прислушивается. Все тихо, но тишина эта, не нарушаемая никаким звуком, наполняет его безотчетным страхом. Хижина погружена в темноту, но темнота эта распределена в ней по-разному, а недалеко от его ложа сгущение этой тьмы особенно сильно, и именно отсюда исходят волны тревоги. И тогда он странно спокойно, как бы со стороны, понимает, что сгусток тьмы во мраке – это стоящий у его изножья человек, и эта мысль настолько отчетлива, что он даже не успевает испугаться, продолжая приподниматься. А в следующее мгновение тьма обрушивается на него.

Айсора выволакивают во двор чьи-то невероятно сильные руки. Лунный свет заливают здесь еще несколько фигур. Рядом с ними беззвучно бьется на земле Оэ.

Те же руки хватают его за шиворот и швыряют, словно нашкодившего щенка. И, как продолжение всего этого ночного кошмара, в бок ему упирается голодное жало кинжала, и приятный, немного хрипловатый голос вкрадчиво изливается ему в ухо:

– Такой красивый, такой молодой человек, как ты, наверное, очень любит жизнь, этот воистину драгоценный дар.

Айсор дрожит, и это единственное, что он может сделать. А голос продолжает:

– Особенно если это не жизнь вообще, а его собственная, единственная и неповторимая, со всеми своими прелестями и удовольствиями.

Айсора начинает бить крупная дрожь.

– Я великодушно предоставляю тебе, красавчик, – продолжает голос, – выбрать прелести и удовольствия для себя либо в этой жизни, либо в жизни загробной. В первом случае тебе помогу я и мои верные волки, а во втором – кинжал, а потом черви, жирные, толстые и холодные.

Кинжал слегка покусывает ему бок, и он цепенеет, изнемогая от ужаса и безысходности. Его бесцеремонно встряхивают, словно ворох запревшего тряпья.

– Ну? – теперь голос обретает твердость стали.

– Я... я хочу жить! – торопливо говорит Айсор.

– Ты знаешь, – голос Мардуса вновь обретает лукавую вкрадчивость, – ты знаешь, я почему-то так и думал. Тогда веди нас, ценитель этой жизни!

– Куда? – спрашивает Айсор.

– А ты разве не понял?

– Понял, – глухо говорит Айсор, внезапно успокоившись.

Сзади к ним бросается Оэ, хватая Мардуса за колени и что-то мыча. Ее отгаскивают; она отбивается и снова бросается к нему. И тогда Мардус внезапно и страшно валит ее с ног пощечиной наотмашь. Оэ, обмякнув, падает в черный провал, образованный тенью крыльца.

– Вперед, мои волки, – говорит Мардус.

* * *

Мрак настолько густой, что не кажется черным, он не имеет цвета, потому что даже черный цвет – это все-таки цвет; он никакой.

Он осязаем, как мрамор саркофага, и так же холоден.

Саркофага?

Да, что давит на него сверху холодной громадой, а сам он при этом распластан на ледяной глыбе мрака.

Они, мрак и мрамор, меняются местами, продолжая сдавливать его и подчиняясь при этом какому-то прихотливому ритму.

Мелодия – четыре звука разной высоты, соотносящихся друг к другу так же, как их продолжительность, – четыре угла квадрата, и, бесконечно повторяясь, каплями из вечности в вечность, они образуют круг, невыразимо медленно вращающийся перед глазами.

Как тихо вокруг, даже больно ушам.

Смешно и немного стыдно – принять за мелодию эти пугающе большие, неподвижные, широко раскрытые, так что видны одни провалы зрачков, глаза напротив.

Глаза уставлены прямо перед собой, но их странная неподвижность рождает сомнения в их реальности.

Хотя нет, – сейчас заметно, что зрачки, пульсируя, расширяются все больше, что говорит о принадлежности их владельца к миру живых.

И если зрачки расширяются при внезапном испуге, то владелец этих глаз находится в состоянии наивысшего страха, даже животного ужаса.

Внезапно глаза моргают, отсвечивая вечерним небом.

Это его глаза.

Он протягивает руку и начинает спокойно рассматривать этими глазами свои пальцы, узкие, длинные, сохранившие трепетное изящество после стольких лет изнурительного ручного труда, с голубоватыми полупрозрачными ногтями, небольшими, но четко очерченными утолщениями фаланг, – а вот здесь должен быть шрам от пореза – когда это было, да, малень-

кий, маленький, ну конечно, маленький Джад играл с кинжалом старого Гундофара и порезался, – а сейчас ничего нет, и это правильно, ведь если давно нет никакого Джада, то как может остаться его шрам, – фаланг, облаченных в матовую и бледную, но теплую на ощупь и словно подсвеченную изнутри кожу, так что на границе плоти и воздуха она мерцает розовым, с редкими светлыми, почти рыжеватыми, словно камыш, прихваченный осенним заморозком, волосками – и собирается с пальцев ручейками, в мелких завитушках водоворотов и перекаатов, в озеро ладони с его омутами, подводными течениями и опасными отмелями, подпираемым крутояром большого пальца и плавно перетекаемым в мелководе тонкого запястья, где, словно неугомонный ключ подо льдом, бьется жилка.

Пальцы находятся в непрерывном движении, словно нащупывают нечто невидимое, – нащупывают, извлекают, разминают, гладят, мнут и расправляют, и из-под них появляется медленно растущий шар.

Шар неотвратно вспухает, продолжая – рук уже нет – продолжая вибрировать, но теперь, при таких его громадных – не вбираемых в себя сознанием – размерах, эти вибрации производят странно гнетущее впечатление.

Они расходятся по поверхности, словно волны, которые становятся все выше и крупнее.

Нет, это просто поверхность стала ближе, она у самых (своих) глаз, и глаза теперь видят, что это вовсе не волны, а мучнисто-белые, кольцеобразные черви, поспешно расползающиеся в разные стороны.

Шар лопается беззвучно, при этом черви сворачиваются в клубки, они уже далеко, так что с высоты роста кажутся комочками праха, которые ветер гонит вдаль.

Ветер гонит вдаль прах и песок, прах, песок и пыль, прах, песок, пыль и едкий дым под заунывную мелодию, которую прерывают – продолжая при этом и выражая по-своему неповторимо – крик осла и кашель шакала.

Равнодушная змея с головой рано одряхлевшей от постоянного недоедания нищенки деловито описывает круг с караваном навьюченных верблюдов в центре.

Погонщик верблюдов далеко впереди.

Погонщик верблюдов бос, но даже со спины величав и весь, с головы до ног, обмотан разноцветными лентами – красными, зелеными и желтыми.

Он сед до белоснежности, как и его борода.

Раффи.

Он держит на сгибе локтя иссиня-черного ворона, которого учит, чтобы скоротать дорогу, не гадить во время еды и соблюдать очередность жизненных процессов.

Ворон делает успехи и ликующе каркает.

Время от времени, когда устает, он прерывает урок и распрямляет крылья, словно человек, кто, вспотев, распахивает полы одежды для прохлады, и тогда становится похожим на небольшой черный крест, внезапно оперенный.

Караван уходит вперед.

Догнать, обязательно догнать и остановить.

Раффи все ближе.

Шуршат, развеваясь на ходу, ленты.

И когда до него остается несколько шагов, он оборачивается.

У него нет лица.

Ворон слетает с его руки на ступу.

Из цепочки верблюдов в караване выбегает разъяренный слон.

Ворон взлетает над ним, и слон топчет ногами ступу, наполненную спелыми ягодами кизила.

Отдельные ягоды скачут в стороны, словно капли крови по пыли из раны, небольшой, но полученной от мастерского удара – глубоко и в жизненно важную часть тела.

Раздается заплотанный крик, смесь рыдания и смеха, когда страдание превосходит способность тела терпеть боль.

Откуда крик?

Он один.

Он?

Он начинает с изумлением рассматривать (свое?) гигантское ухо, сросшееся с его правой ногой, так что идти теперь можно только боком и наискосок влево, подволакивая под себя ухонуго.

Каждое движение причиняет мучительную боль барабанной перепонке, так что, в конце концов, он садится, вернее, падает, измученный, но перепонка продолжает болеть и вспучиваться из уха гигантским пузырем, словно раздуваемая переполняющей его мукой, что сопровождается сводящим его с ума заунывным визгом на грани человеческого восприятия и вот уже за этой гранью, когда звуки обретают цвет и плоть, а цвет становится кричащей плотью.

Этот – звукоцвет? цветозвук? – продолжается до тех пор, пока он не делает попытки встать, и тогда гигантский пузырь лопается, и через него прорастает сосна с сочным янтарным стволом, словно тело зрелой женщины, в расцвете красоты и плодовитости, но вместо двух – парных – символов женской плодовитости у нее только один, а второго нет, а есть уродливая язва, покрытая шрамами.

Шрамы змеятся по коре во все стороны, и она растрескивается; трещины разрастаются вширь и вглубь, так что, в конце концов (сосна продолжает расти), кора отваливается от ствола кусками, обнажая белеющую плоть – бесстыдно и горделиво вздыбленную мужскую плоть – символ владыки и повелителя.

Ноги странного исполина с женской – одной, но царственно-прекрасной – грудью и подавляющим своей мощью мужским естеством вросли глубоко в землю, а выше плеч клубятся белоснежные облака, и лица не видно, но увидеть его лицо крайне важно, тем более что он не может никуда сдвинуться со своего места.

Сын мой.

От этого голоса рушатся горы и беззвучно разевает рот петух на нижней ветке.

Красивая золотистая змейка шаловливо обвивается вокруг корня и ускользает в свое логово под землей.

Во что бы то ни стало наверх, успеть увидеть его лицо.

У подножия роется в земле, утробно похрюкивая, смердящая от грязи свинья, не обращающая внимания на лестницу под ногами.

Скорей!

Осторожно, ступени шаткие.

Как далеко земля.

Ухватиться окрепнувшей, странно очужевшей рукой с холено выращенным ногтем на мизинце за нижнюю ветвь и осторожно подтянуться.

Еще.

Вспышки света сменяются тьмой, все колеблется, уплывает, качается и мельтешит перед глазами, руки тяжелеют, почему-то чем дальше, тем труднее, а ведь должно быть наоборот, ноги наливаются свинцом, не пошевелить ни рукой, ни ногой, грудь сдавлена.

Скорей!

Пространство сужено до ребер.

Ребра первыми воспринимают вибрации извне, грубые, почти отталкивающие.

Вибрации?

Тряска, выматывающая душу тряска.

Заунывная музыка, состоящая из неравных дробных ударов во множество мелких барабанов.

Музыка?

Стук копыт.

Стук копыт по каменистой дороге.

Стук копыт.

Глава четвертая Старая колыбель

Возвращаясь с очередного славно проведенного дежурства, Пантера и Тит издали услышали звуки труб и барабанный бой.

– Эге! – Тит остановился и прислушался. – Пантера, это не нас с тобой встречают с такой торжественностью?

Он засмеялся, довольный. Не дождавшись ответа от друга, оглянулся.

– Пантера!

Пантера стоял, рассматривая лошадиные яблоки.

– Пантера!

Тит озадаченно помедлил, потом снова рассмеялся.

– Жрецы могут толковать будущее по потрохам, – он подошел к Пантере, – а ты, видать, умеешь делать то же самое по дерьму.

– Яблоки совсем свежие, – задумчиво проговорил Пантера, – вот здесь. А здесь – уже подсохшие. Но вчера их не было. Значит, они утренние. Здесь прошло много лошадей, Тит, не будь я... впрочем, неважно.

– Ну и что? Перегоняли табун. Что тебе до этого?

– Табун? Лошадей?! Здесь, в нищей Иудее, кошка считается богатством, откуда у них табун лошадей?

– Здесь полно египтян, сирийцев, эллинов, – Тит не желал сдаваться. – Десятиградие²¹ рядом. Знаешь, какие они лошадиники?

– Знаешь, как мне хочется приложить кулак к твоему уху за твое ослиное упрямство! – обозлился Пантера. – Посмотри на следы, лошадиник! Разве так ходит табун? Правильными рядами, по пять в ряд?

– Сдаюсь, – засмеялся Тит. – Правильными рядами по пять в ряд ты меня доконал. Тогда что это?

– Это не табун, – Пантера покачал головой. – Это регулярная римская кавалерия на походном марше. Утром они прошли по направлению к нашему лагерю, а только что вернулись обратно.

– Нет, тебе точно надо было идти в оракулы, – Тит покрутил шишковатой головой. – Может, ты скажешь еще, зачем они приходили? И еще – какой они были масти? И главное – сколько среди них кобыл и сколько жеребцов?

– Не знаю, – медленно сказал Пантера, не откликаясь на шутку, – но когда собирают легион в полном составе в мирное время, мне это не нравится. Прибавим шагу.

Друзья поспешили в лагерь, прошли ворота, миновали форум и вскоре уже пробирались по главной улице между правильными рядами палаток к расположению их декурии. До них донесся женский смех из одной палатки, а немного погодя – высокие пьяные голоса из другой.

– Пантера, ты хоть что-нибудь понимаешь? – Тит еле успевал за Пантерой.

Они подошли к своей палатке. Навстречу им вышел Луций Нигр.

– Наконец-то! – он недовольно оглядел подошедших.

– Послушай, старина... – начал Пантера.

– Старина? – Луций Нигр побагровел. – А ну, контубернал, доложить как положено!

Желтые глаза Пантеры сузились, вспыхнув.

– Пантера! Это... Командир! – Тит заволновался, почувствовав неладное. – Ну, это... контубернал Пантера и солдат Тит... в общем... закончили обход территории... это... за время дежурства, значит... никаких происшествий...

²¹ Десятиградие – область в полуколене Манассином, на восточном берегу Ередана, где селились в основном иностранцы.

– Вот так, – медленно протянул Луций Нигр, – а то распустились, понимаешь!

Он важно прошел к палатке, оглянулся.

– Никаких происшествий? – усмехнулся он и скрылся за пологом.

Пантера и Тит переглянулись.

– Раньше мне это просто не нравилось, – сказал задумчиво Пантера, – а теперь мне это активно не нравится.

Луций Нигр снова показался в проеме палатки.

– Солдат Тит и контубернал Пантера, ко мне!

Они вошли в палатку. Луций Нигр ждал их с кувшином в руках.

– Угощение за счет командира, – важно сказал он. – Чаши найдете сами.

– Эмилия Лонгина?

– Нет, берите выше, – маленький опцион приосанился. – Командующего всеми легионами в Сирии и Иудее!

Тит с Пантерой снова переглянулись.

– Ты хочешь сказать... – начал Тит.

– Да, – кивнул Луций Нигр, – он угощает всех, и вас в том числе.

– Нас? – Тит вытаращил глаза.

– Да.

– Тогда почему ты принес три чаши? – неожиданно спросил Пантера.

Луций Нигр медленно переводил взгляд с Пантеры на Тита.

– Ты командир, не спорю, – продолжал Пантера, – но этот кувшин, как ты сам сказал, – наш с Титом. А третья чаша означает, что мы пьем вместе, не так ли, старина?

Луций Нигр снова начал багроветь.

– Не забывай, Пантера, – сказал он наконец, – кто из нас – старший командир, кто – подчиненный солдат, а кто – всего-навсего младший командир, следовательно – такой же подчиненный.

– Пантера, хватит, не заводись! – с досадой сказал Тит, с нетерпением оглядывая кувшин. – Командир, славный наш Луций Нигр, опцион ненаглядный, единственный и неповторимый, – так я налью?

Луций Нигр кивнул, проворчав что-то еще насчет дисциплины, и взял поданную ему Титом чашу.

– Ничего не понимаю, – сказал Тит, берясь за свою чашу, – что тут произошло за время нашего дежурства?

– Так вы действительно ничего не знаете? – Луций Нигр снова повеселел.

– Ничего, клянусь Гекатой!

– Торжественное построение всего легиона! – начал Луций Нигр, выпячивая грудь. – Лучники, пращники, иммуны, кавалерия, пехота... Аквилиферы – вперед! Вынос знамени и ларца с серебряным римским орлом! Ну, – это вам о чем-нибудь говорит?

– Праздник какой? – осторожно спросил Тит.

– Не иначе как наш строгий, но справедливый командующий хочет организовать себе триумф, – Пантера одним махом осушил чашу.

– Э, сначала он объявил, что каждый солдат легиона получает по три золотых сестерция, – продолжал Луций Нигр, – и сам, лично, принял участие в раздаче денег.

– О боги! – жестко усмехнулся Пантера. – Это, Тит, тянет не на триумф, а на скромную овацию²².

²² При триумфе награжденный вступал в город, стоя на боевой колеснице, с лавровым венком на голове, а при овации – пешком, в общем строю.

– Ты дерзок, Пантера, не только ко мне, но и к командующему, – протянул Луций Нигр, – но я тебя прощаю, контубернал, потому что по его приказу легион получил три дня отдыха.

– Да что же такое случилось, Луций Нигр, ты можешь сказать, наконец? – Пантера отставил чашу и в упор посмотрел на опциона. – К Манам твою таинственность!

Луций Нигр откашлялся и погладил свой нос.

– Божественный Август занял свое место в пантеоне равных себе богов, – торжественно сказал он и выждал приличествующую паузу.

Пантера и Тит ошеломленно молчали.

– Преемником его власти и полномочий, – продолжил Луций Нигр, – сенатом объявлен...

– Германик! – в один голос воскликнули Пантера и Тит.

Луций Нигр досадливо поморщился и поднял руку.

– Да здравствует император Тиберий Цезарь Август! – возгласил он и споро скомандовал: – Тит, налей-ка всем.

Тит потянулся за кувшином. Из-за палаток послышались пьяные крики и визгливый женский смех.

– Неплохо, – сказал Пантера, – неплохо. По кувшину кислятины и три сестерция на брата. Цена хорошего вьючного мула, Нигр? И на три дня лагерь превращен в лупанар²³. И все довольны, верно?

– А ты сам чем-то недоволен, Пантера? – вкрадчиво спросил Луций Нигр. – Тем более что тебе полагается четыре с половиной.

– Да нет, почему? – Пантера пожал плечами. – Так где мои законные четыре с половиной сестерция?

– Да, – оживился Тит, – и мои три тоже.

Луций Нигр расплылся в широкой улыбке.

– Я их отнес на покрытие вашего долга, – сказал он, – вы что, забыли?

– Вот и славно, – усмехнулся Пантера, – начинаем новую жизнь, а?

– Да, – важно кивнул Луций Нигр, – потом отдельно собрали всех командиров манипул, центурий и декурий. Как раз про новую жизнь.

– И что? – спросил простодушный Тит.

– Извини, Тит, – захохотал Луций Нигр, – но ты не командуешь даже вьючной клячей в обозе нашего легиона, так что я промолчу.

– Поделись, а то вдруг забудешь, – сказал невзначай Пантера.

– Нет, – Луций Нигр покачал головой и прищурился. – Не забуду. Память у меня хорошая.

– Ну что ж, – сказал Пантера, – за неслыханную щедрость нашего нового императора и за твою отличную память!

И залпом осушил чашу.

* * *

Ты ошибся, Тиберий.

Начинать свое правление с преследования иудеев²⁴ – это ошибка. Крохотная, незаметная, но ошибка. Кто они? Горсть песка в твоей необъятной империи?

И да, и нет.

Кто они?

Отсюда, сверху, хорошо видна суэта

²³ Лупанар (лат.) – публичный дом.

²⁴ Имеется в виду эдикт, согласно которому евреям запрещалось селиться в Риме.

на улицах Верхнего города.

Так и есть, по пестроте одежд судя, – богомольная деревенщина.

Писцы, торговцы, менялы,

тщедушный глава семьи, сопливый мальчонка,

купцы, учетчики. Тысячами нитей они привязаны к громадному колоссу, уходящему за облака, имя которому – Рим.

а она...

Нет, даже это пестрое и безвкусное самарянское одеяние

не скроет этих выдающихся – какое многогранное слово – прелестей. Воистину хороша!

Что будет, если перерезать эти нити?

Первыми это почувствуют твои же приближенные, гордые патриции, величественные сенаторы, родовитые всадники. Привыкшие к роскоши, считающие все блага этого мира своей собственностью, они обжираются этими благами, не утруждая себя их пониманием. Серебро Испании? Пшеница Египта? Изумруды Индии? Рабыни Скифии? Это – не более чем мираж в пустыне Синайской.

Они впервые пришли в Иевус и сдуру отвешивают поклоны уже под окнами моего дома!

А для того, чтобы этот мираж стал реальностью, нужно нечто очень простое и скучное: спрос, предложение, цена, стоимость доставки, выручка, убыток, прибыль...

Пусть этим занимаются твои гордые патриции, Тиберий!

Он представил себе выдающиеся формы и не почувствовал ничего кроме раздражения.

А поскольку никто из них не станет унижать свое достоинство скучными цифрами, к этому привлекут наиболее смысленных из числа рабов.

И это будет началом конца, Тиберий!

Потому что не может существовать империя, управляемая рабами.

Но это будет, к сожалению, не скоро. Империи умирают медленнее, чем люди.

Пока ты просто совершил маленькую ошибку.

А вторая твоя ошибка...

Гаиафа позвонил в маленький серебряный колокольчик. Тут же вошедший служка бесшумно внес поднос с фруктами и засахаренными орешками.

– Стойки ли самаритяне в вере? – спросил Гаиафа, продолжая смотреть с балкона.

Потом внезапно повернулся и уставился на служку немигающими бесцветными глазами.

– Светлейший, – залепетал служка.

– Ступай! – Гаиафа досадливым взмахом отослал его прочь и отщипнул от дымчатой виноградной грозди пару ягод, положил в рот, задумчиво покатав языком, а потом внезапно раздавил и проглотил.

...Вторая твоя ошибка заключается в вере. Да, ты перекраиваешь царства и границы, и столь же неразборчив ты в вероисповедании. Даже твои козлоподобные боги украдены у соседей, Тиберий! У Рима нет своего бога, Тиберий! А это хуже, чем не иметь своей армии. Оглянись вокруг себя. Север – поклонение пням и вкопанным в землю бревнам. Запад – пляски вокруг костра. Юг – боги в обличье шакалов и змей охраняют никому не нужные тайны. Восток... Восток? Парфия, Мидия, Сирия... Что такое Сирия, Тиберий? Один варвар-козлопоклонник договаривается с другим варваром-огнепоклонником.

При этом ты забываешь, Тиберий, что непобедимо племя, хранящее завет Моисеев и веру в Единосущего. И крохотная Иудея, которую не замечают твои высокомерные глаза, подобна занозе в теле твоей империи. Тебе известно, к чему приводит заноза, если ее не заметить? Правильно: с живого тела начинают отваливаться смрадные куски гниющей плоти!

– Светлейший!

Гаиафа резко обернулся. В дверях снова показался служка.

- Тебя хотят видеть, Светлейший.
- Кто? – отрывисто бросил Гаиафа.
- Жена Четверовластника.
- Ирида?!

Гаиафа помедлил.

- Зови. Да, это... Подай вина к фруктам.

Служка с поклоном скрылся. Гаиафа отщипнул еще пару виноградин от грозди.

Что надо этой блуднице из Страбониса? Просить денег на поездку в Рим к своему новому повелителю? Для того, чтобы знать, что творится в их хлеву, называемом дворцом, мне хватает сирийского прихлебателя Рувима. Нет, тут что-то другое...

Она уже входила, и Гаиафа повернулся к ней лицом, скрестив руки на груди.

Она была в короткой, по римской моде, смелого покроя тунике, заколотой у плеча золотой египетской брошью в виде ящерицы. Пышные волосы тщательно уложены в сложное сооружение, украшенное над левым ухом желтой розой. На лице застыла официальная улыбка.

Называть ее – ее – госпожой?!

Он молча указал ей кресло. Она села.

Что-то все-таки было в ней от своего царственного – несмотря ни на что – деда, а особенно темные, цвета горьких армянских огурцов²⁵, слегка навывкате глаза, которые сейчас с любопытством оглядели столик египетской работы, вазу с фруктами, легкие занавесы, скрывающие подходящего к краю балкона, оценили открывающийся отсюда вид города и остановились на Гаиафе. Длинные изогнутые ресницы дрогнули, словно бабочка на миг сложила и снова развернула крылья. Она заговорила тоном светской львицы:

- Оставим церемонии для простолюдинов, Светлейший, у меня немного времени.

Гаиафа молча ждал продолжения.

- Мы собираемся в Рим на чествование Тиберия...

В горьких огурцах заплясали огоньки, как будто к ним поднесли факел.

- ... Должна же я увидеть своими глазами эти медленные челюсти!

Гаиафа невольно сжал кулаки.

Святые пророки, и это ничтожество, эта пустоголовая вертихвостка будет приветствовать Тиберия от имени всех колен Израилевых!

Крылья бабочки дрогнули еще раз, явив ему взгляд благодетельной послушницы.

– Я подумала и решила, что поступлю правильно, если согласно вере отцов наших явлюсь к тебе для высочайшего благословения и принесу приличествующую случаю благодарственную жертву.

- В таком виде! – не выдержал Гаиафа.

- Однако, Светлейший, и на тебе нет власяницы!

Крылья бабочки снова дрогнули. Теперь на него лукаво смотрела дерзкая девчонка.

Она просто забавляется! Каждый раз, взмахнув своими бесовскими ресницами, она надевает новую маску. Игра, но опасная игра. Берегись.

– Если ты не будешь присутствовать во время жертвоприношения, то жертва от тебя может быть принята, – сухо сказал он.

- Кем, о Гаиафа, – Богом? Или тобой?

Берегись.

И еще раз берегись.

- Согласно Зевахим Кодашим²⁶, жертва благодарения должна быть...

²⁵ Так в древности назывались баклажаны, считавшиеся лекарственными, но не пригодными в пищу.

²⁶ Зевахим Кодашим – раздел Торы, регламентирующий жертвоприношения.

Глаза Ириды неожиданно вспыхнули, ноздри тонко очерченного носа с легкой горбинкой встрепенулись. Гаиафа замолчал.

Воистину внучка Ирода!

– Я знаю Тору, Светлейший! Как-никак, у меня был личный равви. Очень симпатичный, кстати.

Бабочка ее ресниц взмахнула крыльями. На него снова смотрела смиренная послушница.

– Что такое жертва, Светлейший? Как ты ее понимаешь? Объясни мне, в чем ее смысл?

Гаиафа долго смотрел на это лицо с непрерывно меняющимся на нем, словно маска лицедея, выражением.

– Ты хочешь начать новое толкование Писания? – подняв узкую бровь, спросил он.

– Я хочу знать, – продолжала Ирида, – должна ли быть жертва чем-то дорогим для жертвователя, или нет.

– Безусловно – да, – улыбнулся одними губами Гаиафа, – ибо ничего не стоящая жертва не будет считаться жертвой.

– Значит, – Ирида нахмурила свой высокий, бритый по римской моде лоб, – если жертва очень дорога жертвователю...

– ...Тогда она будет принята особенно благосклонно, – закончил Гаиафа, отечески кивая головой.

– Хорошо, – Ирида выпрямилась в кресле и хлопнула в ладони.

Вошла прислужница,

В такой же бесстыдной римской тунике!

внесла корзину, прикрытую крышкой, и молча удалилась.

– Вот, – сказала Ирида, и маслины ее глаз стали бездонно-черными, – это – моя благодарственная жертва.

Из корзины донеслось протяжное мяуканье, переходящее в завывание.

Гаиафа молчал, потрясенный.

Вышвырнуть... растоптать... Унизительно! Уничтожить это гнездо порока прямо сейчас... К свиньям поездку к Тиберию!

– Это – моя любимица Пуцци, – весело говорила тем временем Ирида, – мне очень жаль с ней расставаться, Светлейший, так что жертва моя полноценна!

Гаиафа поднял свои бесцветные глаза.

– Ты...

– Да, совсем забыла! – продолжала Ирида. – Я добавляю к моей Пуцци две тысячи талантов на нужды Храма...

Гаиафа молчал.

Две тысячи талантов. Шлюха не стыдится кичиться своим богатством.

– ...И две тысячи талантов – тебе, Светлейший, за твое, будем считать, полученное благословение, – закончила Ирида.

Гаиафа молчал.

Потом снова поднял свои глаза. Встретились два взгляда – снулой рыбы и горьких огурцов. Потом запорхала бабочка, и перед ним предстала светская львица.

– Там, у входа, я видела приведенную в твой дом самарянку... – к огурцам снова поднесли факел. – Молода, но полновата... Правда, в вопросах веры это не имеет значения. Изумительный виноград. Откуда такой? Не кармильский ли?

– Нет. Что? – очнулся Гаиафа, беря в руки колокольчик. – Да.

– Значит, не все у нас плохо, не так ли, Светлейший?

Появился молчаливый служка.

– Призови Иоханнана, – отрывисто приказал Гаиафа, взмахом руки отсылая служку прочь.

– Иоханнан? – щебетала Ирида, лакомясь виноградом. – Забавное имя. Такое старомодное, но ужасно привлекательное.

– Иоханнан – самый способный наш молодой священник, – сказал Гаиафа.

Она вытянула узкую, стремительную, словно ручей, ногу, поигрывая свисающей с пальцев греческой сандалией с желтыми – под цвет туники – ремешками. Она заметила, как он украдкой осматривает ее обнаженную до колена ногу. Бабочка вспорхнула еще раз. Она смиренно поставила ноги рядом, сложила руки на коленях.

– Я молю Светлейшего дать мне личного священника во дворец, чтобы наставлять меня и удерживать от кесарийской скверны.

Она встала из кресла, подошла к окну.

Гаиафа вздрогнул и отвел взгляд от ее ног. Наваждение кончилось.

Ты хочешь найти себе новую игрушку для забавы, блудница, одетая как мальчик? Покойный Саб-Бария не всегда следовал истинному учению и порой был упрям, как мул, но никто не мог упрекнуть его в неблагочестии, а сын его задался целью превзойти всех в праведности. Не обломай свои коготки, внучка Ирода!

Снова жалобно и протяжно мяукнула кошка в корзине.

Это мысль. Присутствие преданного служителя Храма может оказаться полезным. Пусть Рувим участвует в попойках Ад-Дифы. С Иоханнаном я буду в курсе всего, что творится в этом скорпионом гнезде.

– Я думаю, Санхедрин не будет возражать, – сказал Гаиафа.

Служка появился и шагнул в сторону, впуская Иоханнана. Он вошел, склоняясь в поклоне перед могущественным членом Санхедрина и зятем бывшего наси Ганана.

– Светлейший, – раздался за его спиной певучий и слегка насмешливый голос, – если этот мальчик настолько же праведен, насколько красив, устои веры в Страбонисе будут незыблемы.

Иоханнан замер, не поднимая головы.

Потом раздались легкие шаги, и в поле его зрения показались две миниатюрные ножки в сандалиях с желтыми ремешками, взбегающими по точеным лодыжкам.

– Надеюсь, твой праведник не глухонемой, – продолжал тот же голос.

– Сын мой, – сказал Гаиафа нетерпеливо.

Иоханнан выпрямился. Краем глаза он увидел женщину в нездешнем одеянии, с оголенными руками и ногами, с цветком в волосах и... Она...

Она смеялась.

– Он краснеет, Светлейший, он краснеет! Если бы не пушок на его щеках, я приняла бы его за девочку!

– Сын мой, – продолжал Гаиафа, – жена Четверовластника Ад-Дифы приносит жертву благодарения.

Иоханнан задрожал. Румянец на его щеках на глазах сменялся мертвенной бледностью.

Семя Ирода!

– Я хочу, чтобы ты совершил обряд сей, – Гаиафа небрежно указал на корзину.

Снова послышалось мяуканье. Ирида отошла к окну, наблюдая за обоими.

– А затем, после возвращения Четверовластника из Рима, ты станешь духовным наставником его жены.

Глаза Иоханнана сверкнули. Он вскинул голову, потом сдержал себя, медленно перевел дух.

– Я не буду участвовать в святотатстве, – тихо сказал он.

Гаиафа вскинул бровь.

– Я не расслышал тебя, – сказал он удивленно.

– Я не буду участвовать в святотатстве, – повторил Иоханнан.

– Послушай, ты, Чающий Света и сын Чающего Света, – медленно сказал Гаиафа, сдерживая себя, – здесь я решаю, что есть святотатство, а что – нет. И я говорю, что святотатством является послушание приказа члена Санхедрина!

Иоханнан стоял, стиснув зубы и прикрыв глаза. На бледном лице прыгали желваки.

Вот он – час испытания! Алилуйя, Господи, я готов!

Иоханнан открыл глаза.

– Я не буду участвовать в святотатстве, – твердо сказал он.

Гаиафа смешался на мгновение. Повисло гнетущее молчание. А потом раздался смех Ириды.

– Прости, Светлейший, но я ценю твое драгоценное время и не смею отвлекать тебя от многотрудных забот, – она, продолжая смеяться, сделала изящный поклон и удалилась.

Тусклые глаза Гаиафы налились свинцовой тяжестью.

Щенок!

Меня!

Перед этой размалеванной шлюхой!

– Ты будешь наказан, – сказал он звенящим от бешенства голосом, хватая колокольчик. –

В оковы этого наглеца! – крикнул он. – Десять ударов бичом! Хлеб и вода до Страбониса!

Иоханнана подхватили, заламывая ему руки, и поволокли из комнаты.

– На все воля Господня, – успел прохрипеть он.

Появился служка, приносящий фрукты, приступил к уборке.

– Самарянка, значит? – негромко сказал Гаиафа, подходя к нему.

Служка поднял на него преданные глаза.

И Гаиафа ударил его в лицо, вложив в удар всю свою злость и раздражение.

* * *

Жалко.

Жалко на пороге смерти понимать, что жизнь прожита зря.

Семья? Дом? Добро в нем?

Все это – земные вехи на жизненном пути, не более того.

Вестим ли вехам путь?

Знает ли камень, что в нем заключено, – жертвенник или гроб?

Знает ли железо, кем оно станет, – лемехом плуга или ножом разбойника?

Знает ли дерево, для чего оно срублено, – для колыбели или распятия?

Камень? Железо? Дерево?

Без души все это – прах и тлен.

Жалко душу.

Скрипнули ворота. Во двор вошли Суламитт и Ииссах. Суламитт сразу подошла к лежащему на скамье у очага отцу, Ииссах сел в углу двора на корточки, опираясь о стену.

– Как ты, отец?

Июшаат помолчал. Что тут скажешь? Он протянул дрожащую старческую руку, чтобы погладить дочь.

Из дома вышел Осий.

– Пришли?

– А где остальные? – спросил Ииссах из глубины двора.

– Мать с Хаддахом пошли в горы за целебными травами для отца, – сказала Суламитт и после паузы добавила: – Встретить бы их – устали, поди...

– Ох, и набегался я за день за овцами, – сказал Ииссах, потягиваясь и зевая.

И встретил недоумевающий взгляд Осия.

– Ииссах... Овец пригнал я!
– Мы оба набегались, – согласился Ииссах, выдерживая взгляд.
Осий опустил голову.
– Овечка оказалась резвая, – сказала Суламитт в сторону, поджав губы.
– Это была не овечка, – сказал Ииссах, добродушно улыбаясь.
Суламитт посмотрела на него.
– Бодливая козочка, – закончил Ииссах, все так же улыбаясь.
– Схожу за ними, – Суламитт порывисто поднялась с места.
– А кто нас накормит? – спросил Ииссах.
– Иди, сестра, – быстро сказал Осий, – я управлюсь.
Иошаат чуть слышно застонал.
– Что с тобой, отец? – Суламитт снова склонилась над ним.
Иошаат молчал, часто моргая, чтобы скрыть предательскую слезу.
Накрывать на стол – занятие ли для мужчины, его сына?
А уходить под вечер в горы на поиски родных – занятие ли для слабой женщины, его дочери?
Он снова застонал.
Когда это началось?
Где, в каком месте ровный, гладкий, поющий под инструментом брус моей судьбы, который я обстругивал собственными руками, перешел в перевитый, в сучках и узлах, дуплистый обрубок?
Когда я шел в Иевус, собирая последние силы, не ведая того позора и унижения, что меня ожидают в Храме?
Раньше, раньше!
Когда был распят Галилеянин на поспешно сделанном кресте, а здесь, в том же самом углу у стены, жалобно бляла беленькая овечка?
Раньше, раньше!
Когда я холодел под взглядом члена Санхедрина с глазами снулой рыбы?
Раньше, раньше!
Когда Мириам лишилась чувств во время жертвоприношения при обрезании младенца?
О Исаия, о Иезекииль, ведь я тогда уже знал, что у нас поселилась беда!
Так когда...
Ведь я...
О Адонай, своими собственными руками...
– Отец, отец! – Суламитт заплакала.
– Он оглох от старости и не слышит тебя, – сказал Ииссах.
Голова Иошаата дернулась, по телу прошла судорога, и он медленно и страшно поднялся со скамьи. Поискал палку и, не найдя, встал, сжимая и разжимая ладони. Перед глазами качалась багровая пелена, в ней выл ветер, кружа пыль и пепел. Он постоял, слепо, не мигая глядя перед собой, и пошел на голос. *Ego* голос.
– Это – не ты! Не ты! – прохрипел Иошаат. – Сын не своей матери!
Осий и Суламитт подошли к отцу с двух сторон.
– Светленький, светленький! Хорошенький такой! – выкрикивал Иошаат, дрожа всем телом. – Красивый, как девочка.
– Отец! – Суламитт в страхе обняла Иошаата.
– Уберите от меня этого безумца! – крикнул Ииссах.
Он вжался спиной в глиняную стену двора, ощерившись и выставив перед собой руки, словно защищаясь от бессвязных слов.

Суламитт и Осий вдвоем остановили Иошаата и повернули его обратно к скамье. Он все порывался сказать еще что-то, но в горле его клекотало.

Ииссах оглянулся, тяжело дыша, как после бега. Взгляд его остановился на старой, раскошейся колыбели. Он в сердцах пнул ветхое рукоделие, обращая его в обломки.

Иошаат остановился, качнувшись, как от удара, хватая воздух скрюченными пальцами.
– Про... кли... иии... ааа... – он мычал, сиюсь сдвинуть с места застрявший во рту камнем холодный язык.

И повалился на скамью.

Ииссах зорко оглядел всех. Суламитт рыдала, поднося ко рту отца питье и поддерживая его за голову. Осий хотел что-то сказать, но, встретив неподвижный взгляд Ииссаха, осекся, губы его задрожали, и он опустил голову.

– Вот и поужинали, – сказал Ииссах, отделяясь от стены.

И, гибкий, как хлыст, ушел наверх, в олею.

* * *

Тяжелый сыромятный бич со свистом рассек воздух, опускаясь на плечи привязанного к скамье Иоханнана. Голос служки, ведущего счет ударам, дрогнул. Не часто наказывают бичом служителей Храма!

– Раз.

Земля! Не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему²⁷.

По спине наискосок вспухла чудовищная красная полоса.

Молчал Иоханнан, но плоть трепетала, познав объятие коварного бича.

– Два.

О, если бы верно взвешены были вопли мои,
и вместе с ними положили на весы страдание мое!

Крестом по спине легла вторая полоса.

Молчал Иоханнан, но безмерно удивлялся – почему вокруг не оглохли от его крика?

– Три.

Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьет дух мой;
ужасы Божии ополчились против меня.

Молчал Иоханнан, и плакал, беззвучно глотая слезы, служка, ведущий счет, ибо впервые увидел, как слаба и беззащитна плоть человеческая.

Что за сила у меня, чтобы надеяться мне?
и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою?

Молчал Иоханнан, потому что унижение и стыд оказались сильнее боли.

– Четыре.

Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня,
доколе не дашь мне проглотить слюну мою?

Молчал Иоханнан, потому что гнев оказался сильнее унижения.

– Пять.

Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель извращает правду?

²⁷ Здесь и далее – Иов, 6—19.

Молчал Иоханнан, силясь не потерять сверкнувшую мысль среди расплзающихся лохмотьев своей плоти, как драгоценную жемчужину – среди кучи отбросов и хлама.

– Шесть.

Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает.
Если не Он, то кто же?

Молчал Иоханнан, только мерцали белки безумно вывернутых глаз, как будто он смотрел в себя самого.

– Семь.

Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться;
я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его!

Молчал Иоханнан, только стекала по подбородку кровь закушенной губы, словно берег некое, ведомое только ему, заветное слово и страшнее всего для него было лишиться его через свои уста.

– Восемь.

А я знаю, Искупитель мой жив,
и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию;
И я во плоти моей узрю Бога.

Молчал Иоханнан, охваченный неистовыми языками горнего пламени, не чувствуя тела, как будто самое тело его стало потоком бесплотного света.

– Девять.

Я узрю Его сам;
мои глаза, не глаза другого, увидят Его.
Истаивает сердце мое в груди моей!

Молчал Иоханнан, и плакал, глотая беззвучные слезы, служка, ведущий счет, ибо своими глазами увидел победу духа над плотью.

– Десять.

И отложили насытившийся бич, и отвязали Иоханнана от скамьи. Потом подняли веки, исследуя закатившиеся в себя глаза, и окатили водой, мешая вместе кровь, слезы и блевотину, и подняли ему голову, чтобы удостовериться – жив ли.

И тогда Иоханнан разлепил онемевшие губы и заворочал во рту распухший кровотокающий язык.

Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды,
и знайте, что есть суд.

Смеялись, дивясь безумцу.

* * *

Ай вай плакала мать когда сын ее занозил себе руку у-у-у плохое дерево побьем его побьем смеялся отец шалом кричал он будет сын мой древоделом хорошее дерево ласки требует что вы вышли на горку солнце давно село а небо светиться чудно Иошаат Иошаат здесь мы за тобой пришли Иошаат слышали вы нет ничего мы не слышали радуйтесь сын нам дан туги уши наши стали не разобрать что ты кричишь сын вот же он спеленут глаза наши не светят от старости не видать что там у тебя заладили вот же сверток у меня на руках руки мои руки куда ваша сила подевалась не поднять ай-вай плакала мать туговое дерево натрудился Иошаат дай воздуху рукам э-э кричал отец хмурясь труд человека проклятие его Иошаат проклятие твое Иошаат в твоих руках плачьте сыны Израиля сыны человеческие ибо прокляты вы

своими собственными руками рученьки мои рученьки рыбы глаза страшно страшно страшно
не надо нам рыбы Иошаат иди же мы ждем о мать моя утешь меня грешен я проси о том отца
своего о отец мой утешь меня словом вещим хорошо сын мой маленьким ты любил притчи
вот тебе в уши притча у Возлюбленного Моего громче не слышу был виноградник на вер-
шине утучненной горы и виноградник говорю я Он обнес его оградой и очистил его от камней
и насадил в нем отборные виноградные лозы насадил не слышу и построил башню посреди его
и выкопал в нем точило и ожидал что он принесет хорошие грозды а он принес дикие ягоды²⁸
непосильна твоя притча отец разумению моему не тяжелее содеянного твоими собственными
руками иди Иошаат отдохни измученной душой небо над вами небо ли голос твой мать
твой ли голос отец мой отец ли ты мне свет свет свет заливаешь меня иди Иошаат мы ждем куда
мне идти кто я что есть свет что есть камень что есть дерево опять он о дереве ты не древо-
дел по имени Иошаат ты иошаат по имени Древодел жизнь есть тайна и тайна сия заключена
в дереве ты славно поешь Иошаат словно Давид-псалмопевец дерево да заключена в дереве
ибо в начале жизни у младенца колыбель у черненького и светленького едино а в конце жизни
кто скажет у кого из них трон из позолоченного дерева а у кого крест из занозистого грешен я
грешен все грешны Иошаат человек приходит грешно в этот мир греха и грешно оставляет его
тогда пуст позолоченный трон царя Давида ай-вай разбита колыбель остался крест мой крест
ибо каждого из нас ожидает свой крест плакала мать потоками дождевыми гневался отец
громом заоблачным заждались тебя Иошаат разве не получил ты знамения Господня воистину
получил и иду к кресту своему ибо знамение мое крест

* * *

Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою:
ибо крепка, как смерть, любовь,
люта, как преисподняя, ревность,
стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень весьма сильный²⁹.

- Иисах, возлюбленный мой!
 - М-м-м...
 - Ты спишь, Иисах?
 - Глаза слипаются.
 - Ой какая родинка у тебя на плече... Словно примета.
 - Не трогай.
 - Ты приметный мой!
 - Щекотно.
 - Единственный мой, любовь моя, звезда осиянная...
 - Звезда? А слышала ли ты про звезду над Бет-Лехемом, сияющую звезду?
 - Люди что-то говорили. А что?
 - Как что? Я родился в Бет-Лехеме. Звезда та сияла надо мной!
 - Ой, да, я забыла, тебе повинуются птицы.
 - Птицы! Подожди, – мне будут повиноваться люди! Да. Не веришь? Это так просто.
- Люди – они глупее птиц.
- Иисах...
 - Ты мне не веришь?

²⁸ Ис., 5, 1, 2.

²⁹ Песнь песней, 8, 6.

- Что ты, – конечно, верю! Ииссах...
- Ну что тебе?
- Ты меня любишь?
- Мирра, ты меня уже сто раз об этом спрашиваешь.
- Ну и что?
- Как что? Устал я.
- Ты... ты не любишь меня.
- Это ты говоришь.
- Ну скажи, скажи!
- Вот, говорю.
- А почему ты при этом плечами вот так поводишь?
- Волосы твои щекотные.
- Ииссах...
- Мирра, ты что, плачешь?
- Ииссах!
- Ты что, не кричи так!

– Я верю тебе, Ииссах, родненький мой, жизнь моя, что ты – Мессия, Ииссах, что явился долгожданный Спаситель, Ииссах, ты мой долгожданный, будь моим Спасителем, Ииссах, спаси меня от грязи и унижений, от слез о хлебе насущном и последней монете, от темного прошлого, отравляющего память, от мрачного настоящего, иссушающего мысли бессонными ночами, и от беспросветного будущего, душащего сердце! Будь моим Спасителем, ты – все, что есть у меня, Ииссах, ты – вся моя жизнь, Ииссах, будь моим Спасителем, заклинаю тебя, и я воскликну в счастье на весь мир: воистину Господи, мой Боже, осанна Тебе во веки веков!

Мирра замолчала, задышавшись от слез.

Ииссах повернул голову. Прислушался. Потом открыл рот, чтобы что-то сказать, и снова прислушался.

– Кто-то бежит сюда.

Мирра поспешно осмотрела себя, вздохнула о порванном платице.

Он уйдет, а я дождусь темноты. Стыдно такой попасться на глаза людям.

– Ииссах! – послышался полукрик-полустон.

У скалы показалась Суламитт, изнемогая от усталости, слез и отчаяния.

– Ииссах, – сказала она, – умер твой отец.

Ииссах вскочил, задрожав и оскалив зубы.

– Отец? – спросил он.

– Это ваш отец, – сказал он.

– У меня нет отца! – крикнул он.

– Ииссах, Господь над нами да рассудит тебя, только пойдем домой, заклинаю тебя, – прошептала Суламитт помертвевшими губами.

– Дом? – Ииссах зло рассмеялся. – Это ваш дом. У меня нет дома.

Он короткими звериными прыжками взобрался на скалу и встал там во весь рост, раскинув руки, багровый в лучах заходящего солнца.

– Эге-гей! – захохотал он. – Вот мой дом! Я свободен!

И спрыгнул по ту сторону скалы.

Он продирался сквозь кусты, ломая ветви и не чувствуя их нежелания умирать. И когда кусты оставили его, начался пологий подъем в гору. Жажда движения не оставляла его, лицо горело. Мышцы заработали в едином ритме, толкая тело на вершину Фавора, мозолистые подошвы ног отшвыривали вниз камни и песок.

На вершине он остановился, чувствуя, что сердце вот-вот выскочит из груди.

Небо чернело над ним.

– Отец? – крикнул он, все еще споря. – Кто мой отец?

Что-то тихо пророкотало в отдалении. Иисах поднял голову, оглядываясь.

Наверное, это черед мелких камешков, незримо осыпаясь, вызвала движение большого валуна с горы.

* * *

Две девушки сидели у скалы, обнявшись, и плакали.

Плакали самозабвенно, как плачут, когда горе в душе поднимается так высоко, что сносит шаткие преграды сознания, и накопившаяся боль изливается свободным и широким потоком.

Слезы их были одинаково солонны и, щека к щеке, представляли одно целое для равнодушных созвездий над их головами.

Но каждая из них оплакивала свое.

Глава пятая Землетрясение

Пространство вновь заужено до размеров собственного тела, но это теперь, повторяясь, только притупляет чувства, а повторяясь многожды, – подавляет их.

То же мелькание света и теней; так же не пошевелить конечностями.

Неритмичные толчки и тряска вновь и вновь подтверждают сознанию реальность телесной оболочки, в которую оно заключено, ибо от них тело болит и ноет. Можно повернуть голову набок. Тогда половину окоема прямо перед глазами занимает темная полоса; такая же полоса – вторую. Лицо, уткнувшись в них, воспринимает кожей сучки и занозы грубых досок. Между ними щель с палец толщиной; за ней мрак, иногда прерываемый приглушенными вспышками света.

Мрак постепенно редет; в нем можно различить то выплывающую из клочковатого тумана ветвь, словно умоляюще протянутая рука, то нагромождение камней, угрюмых и бесстрастных к происходящему.

Звучит гортанный возглас; толчки и тряска прекращаются.

Привал.

* * *

Это я виновата.

Во время нашей последней встречи в лесу я должна была почувствовать грозящую ему опасность. Ведь я до сих пор помню, как колотилось тогда мое сердце.

Я не виновата. Ведь я до сих пор помню, как колотилось тогда мое сердце.

Освещает ли Свет сам себя?

Стареет ли Время?

Высокий умом Азнавак сказал бы, что я, задумываясь чувствами и страдая мыслями, подготовлена к просветлению. Пресветлый Учитель! Я недостойна была проходить мимо твоей тени, ибо не просветление это, а безумие мое.

Что мне делать?

О, Вишведевы³⁰, к вам приникаю я мыслью своей, пошлите мне хотя бы бесконечно малый знак того, что он жив.

Мысль моя мечется и дробится, словно горный поток, падающий с высоты, становясь крохотной каплей, играющей на солнце, каплей-заклинанием.

О, Даритель, о, щедрый, грома мечущий³¹, к тебе я обращаюсь, недостойная, малая разумом, но искренняя в своих чувствах, – верни его!

О, Повелитель живых существ³², если Индре великому не пристало отрывать себя от великих свершений ради меня, зернышку сезама подобной, тогда ты услышишь мою просьбу и вернешь его!

Нет, нет, мои просьбы нелепы. Колесо кармы неостановимо, звезды и солнце подчиняются его неумолчному вращению.

Колесо...

Тогда мне можешь помочь ты, Всесозидающий в одежде мастерового, о Рабочий, о Плотник, о Дровосек³³! Тебе ничего не стоит изготовить повозку, на которой будет возле-

³⁰ Вишведевы (санскр.) – букв. «Все-боги», 7 (по другим данным, 10) верховных божеств в индийском пантеоне.

³¹ Эпитеты Индры.

³² Эпитет Браммы.

³³ Эпитеты Вишвакармана,

жать он, простую грубую повозку, без лент, цветов и украшений, да возвращаются побыстрее спицы ее колес!

Не слышен звук его топора, видно, далеко ушел он во вселенский лес, что» ему мои вздохи и слезы...

Но если мир поделен на свет и тьму, если разорван он пополам на добро и зло, если правда существует только потому, что существует ложь, тогда должна быть в этом мире сила, могущая отличить свет от тьмы, добро от зла и правду от лжи, чтобы не дать им перемешаться и превратиться в хаос. Отдели от бессвязного потока моей речи одну каплю, о Самосуций³⁴, ибо я обращаюсь к тебе, и рассуди меня по ней одной!

Это я виновата... Никто не слышит меня. Вы, к кому я взываю, о боги, – вы не слышите меня, вы, самовлюбленные бесчувственные мужчины. Как может найти сочувствие и понимание у вас теряющая разум девушка! Поэтому я, трепеща, обращаюсь к тебе, мать-богиня, я обращаюсь к тебе, о воздевшая ноги кверху³⁵! Ты видишь, я выговорила это, хотя и покрылась краской стыда, но мне придала силы вера в то, что и ты до того была девой, как и я, и понятна тебе моя просьба вернуть его.

Я виновата и вдобавок бесстыдна? Пусть! Пусть я лишусь остатков стыдливости и обращу к тебе прославление матери и супруги:

Муж, входящий в свою жену,
Входит семенем в материнское лоно
И, обретя в ней другую жизнь,
На десятый месяц рождается снова

Жену тогда называют женой,
Когда в ней муж рождается снова.
Она – родительница, она – рождение,
В ней сохраняется его семя.

Боги и мудрецы святые
Наделили ее великим блеском;
И боги так сказали людям:
Жена – это ваша вторая мать³⁶!

Да ослепнут мои глаза от слез, да оглохнут мои уши от стенаний, нет мне покоя и утешения. Прости меня, но не жена остается равнодушной к моим просьбам и не мать, а бесчувственная вейшья³⁷.

Бессилие мое рождает отчаяние, а отчаяние – гнев. Мутится разум мой, ибо гнев вызывает во мне жажду разрушения. К другой супруге обращаюсь, к черной спутнице³⁸ обращаюсь: толкни в бок своего заспавшегося мужа, мне самой страшно, – пусть откроет хотя бы одно из своих трех очей, всесильный Сохранитель мирового порядка³⁹! Не может ведь колесо кармы вращаться, смазываемое одной несправедливостью! Оставь колесо, уничтожь несправедливость – одну, но эту!

³⁴ Эпитет Варуны.

³⁵ Эпитеты Адити.

³⁶ Айтарейя-брахмана, 7, 13.

³⁷ Вейшья (санскр.) – букв. «та, к которой входят», продажная женщина.

³⁸ Эпитет Кали.

³⁹ Эпитеты Шивы.

Что я говорю, дерзкая! Нет мне прощения.

Довольно. Я готова. Я готова встретить твоих вестников, о Двоякий владыка, без страха. Но знай, когда я предстану перед тобой в твоём дворце, не о себе я буду просить тебя, Происходящий от Солнца⁴⁰, но о спасении его, ты слышишь!

Нет. Не слышит. Даже смерть отказывается от меня.

О, я знаю. Как же я раньше не подумала! Конечно... К кому же обращаться в сгущающемся мраке подступающего безумия, как не к тебе, царь жертвенной сомы! Услышь меня, Сын праведной силы! Услышь, Пожиратель растений! Услышь, прекраснеликий Тримурти⁴¹! Обрати свой пылающий гнев на зло и несправедливость или испепели мою истерзанную душу!

Я сошла с ума.

Я сошла с ума? Пусть!

Я виновата.

Я виновата? Пусть!

Я смеюсь, о боги!

Смеюсь я или плачу?

Ибо что делает виноватую виноватой, вина которой – в ее безумии? Что делает безумную безумной, безумие которой – в ее вине? Вы не знаете, о боги, того, что знаю я! Как! Вы – всемогущие боги! – и не знаете? Знаю я – и лишь один из вас, один, о котором я не смела и подумать, а теперь, признавшись в безумии, я не боюсь.

Я, безумная, говорю о тебе, сын Лакшми и Дхармы!.

Я, безумная, говорю о тебе, брат Кродхи.

Я, безумная, говорю о тебе, супруг Рати.

Я, безумная, говорю о тебе, отец Тришны.

Попугай твой летает быстро, о Мадана⁴²!

Ты – истинный бог, потому что ты и не рожден, о Аджа, и рожден, о Ираджа⁴³!

Ты носишь на знамени породившее тебя чрево, о Шамантака⁴⁴!

Лук твой из тростника, тетива – из пчел и всего пять стрел из цветов, но человеку достаточно и одной, о Манасиджа⁴⁵!

Не у воды ли давным-давно ты пустил в меня свою разящую стрелу, о Атмабху⁴⁶?

⁴⁰ Эпитеты Ямы.

⁴¹ Тримурти (санскр.) – букв. «Троица», «триединый», – эпитет Агни.

⁴² Мадана (санскр.) – букв. «опьяняющий». Здесь и далее – эпитеты Камадэвы.

⁴³ Ираджа (санскр.) – букв. «рожденный из воды».

⁴⁴ Шамантака (санскр.) – букв. «губитель покоя».

⁴⁵ Манасиджа (санскр.) – букв. «родившийся в душе».

⁴⁶ Атмабху (санскр.) – букв. «самосуший».

С тех пор – но об этом неведомо никому – я ежедневно оставляла тебе часть своей пищи, о Манматха⁴⁷!
И если ты до сих пор сыт, то я голодна, – справедливо ли это, о Шрингарайони⁴⁸?
Взгляни же на меня, о Камадэва!
Груды мои тяжелы и упруги, – разве не достойны они прикосновения его руки?
Соски грудей моих – словно завязи плодов граната, – разве не достойны они прикосновения его губ?
Живот мой нежен и гладок, – разве не достоин он задрожать от его взгляда?
Бедра мои круты и широки, – разве не достойны они охватить его бедра?
Руки мои гибки и изящны, – разве не достойны они обнять его плечи?
Стан мой тонок и гибок, – разве не достоин он изогнуться под его натиском?
Ягодицы мои выпуклы и мягки, – разве не достойны они принять его тяжесть?
Лобок мой – словно земля весной, ждущая пахаря, – разве не достоин он его нефритового плуга?
Вход мой истекает соком, словно спелое манго, – разве не достоин он одарить его сладостью?
Девственность моя подобна жемчужине, созревшей в створках раковины, – разве она не достойная награда его силе?
Лоно мое разверсто, словно ступа, подготовленная к празднику, – разве оно не достойно его сомы?
Разве я не достойна его любви?
Молчишь и ты, Камадэва.
Я впервые сказала то, о чем раньше боялась и подумать, ведь кому, как не тебе это должно быть знакомо, а ты – ты тоже молчишь...

⁴⁷ Манматха (санскр.) – букв. «смущающий душу».

⁴⁸ Шрингарайони (санскр.) – букв. «источник наслаждения».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.